

A silhouette of a telescope on a tripod is positioned in the lower-left quadrant of the frame, pointing towards the upper right. The background is a deep blue night sky filled with numerous white stars of varying sizes. The overall composition is simple and evocative, suggesting a theme of astronomy or deep thought.

Мне хорошо,
мне так и надо...

Бронислава Бродская

Бронислава Бродская

Мне хорошо, мне так и надо...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30077593

SelfPub;

Аннотация

Почему люди, которым многое было дано, так и не сумели стать счастливыми? Что и в какой момент они сделали не так? Судьбы героев слагаются в причудливые мозаики из одних и тех же элементов: детство, надежды, браки, дети, карьеры, радости, горести... Элементы идентичны, а мозаики разные. Почему одни встречают старость в ладу с собой, а другие болезненно сожалеют об упущенных возможностях? В этом загадка, которую вряд ли можно разгадать, но попыток оставлять нельзя. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Киношница	4
Синеглазый ариец	45
Чуги – кровавый гэбист	80
Княжна N	143
Конец ознакомительного фрагмента.	167

Бронислава Бродская

Мне хорошо, мне так и надо...

Киношница

Молоденькая девушка с простеньким, но милым лицом стояла знойным июльским днём на троллейбусной остановке напротив Краснопресненского универмага, и по её стройным ногам обильно текло. Мутная, с лёгким бурым оттенком вода струилась по ляжкам и затекала в босоножки. У Марины стали отходить околоплодные воды, и случилось это, как всегда, неожиданно. Марина знала, что ей скоро рожать, но чтобы вот так, сразу, на улице... Рядом стояли люди и видели её позор. Вот это да! Вот это она даёт! На несколько секунд Марина застыла, но потом быстрым шагом двинулась на переход. На асфальте осталась сохнуть маленькая лужица. Ей нужно было немедленно вернуться домой. Это недалеко, каких-то пять минут, но сейчас путь показался ей долгим. Ноги были мокрые, в босоножках хлюпало, трусы противно прилипли к телу. Марина не стала вынимать из сумки ключи, а нервно зазвонила, давая понять свекрови, что «что-то не так». Слава богу, было кому показывать. Свекровь увидела

её мокрые ноги, вызвала скорую, и начала названивать мужу и сыну на студию. Какое там! Никто не брал трубку. «Сейчас, сейчас, Мариночка, потерпи», – причитала она в большом волнении. А что «потерпи», больно Марине совершенно не было. Она зашла в ванную, захватив в спальне чистые трусы. Ноги у неё внезапно ослабли и захотелось присесть, но этого как раз и не стоило делать: «Не хватало только мебель им мягкую испортить». Из дурацкой, совсем в последнее время не используемой по назначению дыры продолжало лить, но уже не так интенсивно. «Тьфу, сейчас и эти трусы промокнут. Надо ваты подложить». Марина немного растерялась, но в глубине души была довольна, что наконец-то началось. Должно же было это её странное, и скорее неприятное состояние, иметь конец. Ещё несколько часов – и всё... Что «всё», Марина не очень-то себе представляла. Замужем она была всего ничего, месяцев пять. Молодой, многообещающий режиссёр женился на ней, как только узнал о беременности. Марине казалось, что он её любит, и всё у них будет хорошо. Андрей успел поработать в Новосибирском театре, закончил ВГИК, снял нашумевшую короткометражку и начал снимать свой первый полный метр про войну. Удачливый парень, всего 23 года, а уже доверили... С другой стороны, что уж тут такого удивительного: мать-то его – родная сестра очень известной киноактрисы, той самой, которая жена знаменитого режиссёра... Ну и соответственно. Такая вот у нас тётушка, любимая ученица Сергея Герасимова. Да,

ладно тётушка, у нас и родители ничего: мама – журналист, член редколлегии одного из центральных литературных журналов, папа – знаменитый художник-график. Марина понимала, что ей с новыми родственниками повезло. Правильно она всё-таки сделала, что из Шатуры уехала.

О собственных родителях она вспоминать не любила. Папа, рабочий на мебельном комбинате, спился и умер, мама всю жизнь проработала нянечкой в районной больнице, таскала домой передачи из тумбочек и тоже попивала, противно заедая свои стограммовые порции жирными кусками куриных ножек, которые она жадно обглаживала. Больные умоляли нянечку принять «курочку... от чистого сердца». Водку и портвейн она покупала на рублики, которые регулярно брала из потных ладоней беспомощных лежачих. За эти рублики мамаша, ворча, подавала лежачим утки и перестилала простыни.

Марина посещала в Шатуре балетную студию, преподавательница ей говорила, что она способная. Окрылённая, она после школы приехала в Москву поступать в труппу театра Немировича-Данченко, но её даже не допустили до просмотра. О балетной студии в Шатуре никто и слушать не хотел, подавай им настоящий диплом. При чём тут диплом? Даже посмотреть не захотели, как она танцует! Кто-то посоветовал Марине съездить на «Мосфильм» или в студию им. Горького, в какую-нибудь группу на массовку. Они тогда с сестрой снимали угол в бараке в Марьиной роще. Но продолжа-

лось это не слишком долго, с сестрой Марина рассорилась, уж очень та ей много нотаций читала, особенно о вреде мужиков. Понимала бы чего!

На съёмочной площадке она познакомилась с Андреем, будущим мужем. Ну а что? Он, Андрей её, не такой уж красивый, увалень, а она – стройная, намного моложе его, «балетная» девочка. Балет – это вообще было круто, или как тогда говорили «клёво». Марина всем старательно врала, что она училась в балетном училище Большого театра, почти закончила, подавала надежды, а потом... страшная травма – и всё. Конец карьере. Но она не унывает – надо выживать. Мужчин подкупали её оптимизм и независимость, Марина не выглядела охотницей за женихами и московской пропиской. Да и с Андреем... ну и что, что она ему сразу «дала»? Кому хотела, тому и давала, забыла сестрицу спросить. А потом – раз, и залёт! Ей тогда казалось, что Андрей так и так на ней женился бы, просто получилось немного быстрее, чем они собирались, не дотерпели. Подумаешь. Он её своим родителям представил, Марина видела, что они вежливы, доброжелательны, заранее принимают ребёнка своего единственного сына, но были ли они ей действительно рады? Не факт, не факт... Марина была всё-таки реалисткой.

Её расспрашивали о родителях. Вот так она и знала: про родителей непременно спросят. Марина, во избежание вопросов и просьб о знакомстве, с горечью сказала, что она сирота, есть, мол, старшая сестра, но она живёт далеко, что

они не общаются, у каждой своя жизнь. Эх, зря она так сказала. За язык её не тянули насчёт сестры. У неё же и братец старший есть, но хватило же ума о нём промолчать. Братец служил сверхсрочную где-то в строительных войсках на БАМе. Они вообще друг о друге ничего не знали. Да и что там знать? Нужно больно. А и про сестрицу она сплеховала. В глазах новой семьи Марина прочла укор и недоумение – как это, не общаться с сестрой? У Макаровых все общались. А вообще-то она, получалось, была «бедной девочкой» и их долг – её теперь пригреть и защитить. Да пусть. Марина соврала про сиротство, но удержалась от красивой истории про папу лётчика-испытателя, который погиб на задании. Это выглядело бы слишком банальным и неправдоподобным. Врать надо было уметь: иметь чувство меры и не зарываться. Впрочем, враньё давалось ей легко, ненатужно. Для Марины то, что она рассказывала другим, было не ложью, а просто преувеличением, милыми фантазиями, в которые она начинала сама верить, тем более, что проверять её слова никто не собирался, вреда от них не было, наоборот: лёгкие неточности могли принести Марине пользу, выставить её в глазах окружающих в выгодном свете.

Из роддома Марину встречала вся семья. В белом кулёчке с голубыми лентами лежал её сын Кирилл. Так его называл Андрей. Хорошее имя, почему бы и нет. А потом? Да, ничего особенного. Молока у Марины было много. Сын рос крупным и здоровым мальчиком. Первое лето они провели

в Москве, свекровь помогала, да и Марина старалась принести пользу, а не быть только матерью их наследника. Вскоре Андрей устроил её на студию, ассистенткой режиссёра. Муж давал ей иногда деньги, и Марина купила себе модную кожаную мини-юбку, которая ей очень шла. На работе она видела интересных людей, знаменитых артистов, которые были с ней запросто, а дома её ждал крупный, увесистый, плачущий басом, сын. Марине казалось, что у неё всё хорошо, даже прекрасно, но она ошибалась. Андрей начал, как её мама говорила, «гулять», и сделать с этим было ничего нельзя. Сыну было уже полтора года. Ну что говорить, Марине было неприятно, тем более, что его новая пассия была дочерью известной артистки, типичная «золотая молодёжь»: дома творчества, рестораны, модные просмотры, а Марина... Андрей давал ей понять, что у него с ней неравный брак, его подловили на «залёт», и теперь ей следовало бы в вечной благодарности помалкивать. Ещё чего... помалкивать! Марина, как она всегда любила думать, Андрея «выгнала» и осталась жить в их квартире. «Выгнанный» ушёл. И сразу на любовнице женился, расплатившись с Мариной их крохотной двухкомнатной квартирой, кооперативом, за который он заплатил деньгами от первого своего фильма. Мужа она потеряла, а бабушка с дедушкой, которые души не чаяли в единственном внуке, продолжали относиться к Марине с интеллигентской доброжелательностью, она же была матерью их распрекрасного Кирилла, куда же её девать. Но они понима-

ли и сына. Женился на простушке, ни класса, ни стиля, ни образования, ни таланта. Кирилла каждое лето брали на дачу к знаменитым родственникам, он был там своим, а Марина, которая приезжала навещать сына, своей не была. Там все «знаменитости» делали вид, что «Мариночка – чудная», но какими бы замечательными актёрами все не были, родственность они играли фальшиво. Да, чёрт с ними! Через много лет, когда свёкор со свекровью умирали, и Марина была рядом, не бросила их до последней минуты, вот тогда и судили бы, кто «свой», а кто «чужой». Может, они тогда поняли, что всё-таки она с ними через ребёнка породнилась. Да кто их поймёт, интеллигентов. Андрей был ещё два раза женат. После «дочки» какая-то чешка, у них дочь. Потом довольно простая девка из Гурзуфа, да ещё с ребёнком. Он с ней познакомился на Ялтинской студии. Интересно, чем она была для него лучше Марины? Бутафор, никогда не училась. У Марины хоть была хореографическая студия и первый курс института культуры. Ну бросила она институт, ну и что? Не до учёбы, нужны были деньги. А та... толстая, неуклюжая баба, и что он в ней нашёл? Толстый и толстая, вот и правильно.

Когда Андрей ушёл, Марина не особенно горевала, чётко понимая, что никогда его не любила. Он ошибся, и она тоже: угрюмый, не тонкий, невыносимо эгоистичный и какой-то скучный. Радости от него было немного, делал вид, что весь в творчестве, в карьере, в своих планах, а она... в общем не

до неё. Марина до сих пор заводилась, когда вспоминала его фразу: «Тебе надо было в общем вагоне ехать, а ты в первый класс села...» А «первый класс», значит, для него, для таких как он. Противно.

А потом были узкие таллинские улицы, маленькие тёмные кафе в подвалах, всё такое не советское, загадочно-романтичное. Их съёмочная площадка среди развалин старого замка. Лето длинное – делай что хочешь, работа кажется интересной и значительной, сама она, Марина – профессиональная и незаменимая. Без неё никакой и съёмки бы не было. Она тоненькая, длинноногая, в старых чёрных вельветовых кордах, деловая и очень «московская». На голове модно повязанная косынка, на глазах стильные тёмные очки. Как она всеми распоряжается, строгий голос, усиленный мегафоном. По периметру площадки – зеваки. Говорят – не по-русски. Рижская же студия. Что-то они там такое снимали экстремально-любовное. Он играл маленькую эпизодическую роль «гостя с гитарой». Ну спел что-то бодро-щемящее, но какой красивый! Вежливый, деликатный, европейский лоск, акцент. Да ещё почти на 15 лет старше. Светлые, холодноватые глаза, большие ладони с длинными тонкими пальцами, крепкое высокое тело. А ещё хорошо сшитые брюки, свитер крупной вязки. Польские корни, семья известного винодела, умеет играть на скрипке. Вот тебе и длинные сильные пальцы. Скрипка, правда, была только на уровне детской музыкальной школы, а потом Георг после ПТУ работал на

заводе ВЭФ регулировщиком автоматической телефонной связи. Учился на историческом и юридическом факультетах университета, но всего два года. Надоело. Этому ничего Марина поначалу не знала. Он не всё рассказывал, да даже если бы и рассказывал, Марине тогда всё в нём нравилось.

Они вернулись в Москву вдвоём. По ночам он шептал ей на ухо нежности, вроде по-русски, а вроде и нет. Марина просто прижималась к его плоскому животу и балдела. Они долго были женаты. Марина ездила к Георгу на хутор. Приземистый дом из брёвен, натуральное хозяйство, заросший огород, в значительном отдалении угрюмые неразговорчивые соседи, не больно-то радушные к русским. Но это была его родина, своя земля, свой дом, язык, простой, далёкий от московской суеты уклад. Марина никогда не была от хутора в восторге, но каждое лето, если они были свободны от съёмок, они туда ездили, и ей приходилось изображать из себя суровую хуторянку. До определённого момента ей всё это даже нравилось: она вешает на верёвки постиранное бельё, мужики её в грубых сапогах уезжают на старом «газике» за продуктами, кругом дикая природа.

С какого-то момента Марина начала замечать, что Георг не всегда вписывается в её окружение. Кирилл стал плотным сильным подростком, и Марина приятельствовала с семьёй его первой девушки. Вот их с Георгом пригласили в гости. Всё бы хорошо: еда, много водки и вина, красивый розоватый ковёр в гостиной, мягкий свет, удобная мебель, ки-

пенно-белые модные обои. Все расслаблены, сыты, довольны. Марина прекрасно понимает, что эти люди собираются, чтобы не просто поесть, они хотят общаться. Но Георг сидит, откинувшись в кресле, положив руки на широкие подлокотники, смотрит на окружающих с едва заметной улыбкой и многозначительно молчит. Он мог бы рассказать о каких-нибудь съёмках, но сделать это интересно ему трудно, тем более, что монологи нежелательны, а дискутировать Георг не умеет. Хозяйка – еврейка, и Марина всегда сильно беспокоится, как бы муж не сказал что-нибудь неприятное про жидов. Антисемитизм Георга был наследственным и иррационален, иногда ему не удавалось сдержаться. Не дай бог! Марине в таких случаях хотелось уйти. Георг выглядел тем самым тормозным туповатым прибалтом из анекдота. А раньше она этого не замечала? Все эти его неторопливые банальные фразы, с повышающимся к концу тоном. Он никогда не повышал голос, не умел громко смеяться, его чувство юмора стремилось к нулю. Оказалось, что в Москве он совершенно не смотрелся неспешным, полным достоинства и скрытой силы, викингом, он смотрелся провинциалом, не смог найти ни друзей, ни приятелей, ни просто профессиональных контактов. Он продолжал сниматься во второстепенных фильмах, играл в эпизодах, почти всегда иностранцев с акцентом. Да даже и эти роли Марина находила ему сама, неумолимо предлагая его прибалтийские услуги. Ни одной главной роли Георг так и не сыграл. А когда-то Марина так радовалась, что

замужем за актёром, что она сама безо всякого Андрея и его снобской семейки смогла войти в мир кино. А вот так: у неё муж знаменитый актёр... Георг... вы не знаете? Он снимался... там-то и там-то. Но на улице его никто не узнавал и автографов не просил. И всё-таки её муж – актёр, красивый, европеец, не какой-то там инженер.

Денег не было. А так хотелось хорошо одеваться, покупать у спекулянтов «фирму». В отпуск Марина никогда не ездила, ей хватало поездок на съёмки: то на море, то в горы, то в тайгу. Другие города, люди, гостиницы, вагончики, гримёры, операторы, администраторы. Шумная, крикливая, капризная толпа, а она – в центре, почти самая главная, всё на ней. Натуру выбирать – она, актёров увещевать – она, с местными улаживать – она, режиссёр и актёры... они, как дети. Что бы они все без неё делали? Какая она молодая, стройная, независимая, то резкая, то задушевная, то раздражённая, то умиротворяющая. Все её любили и ценили. Женщины доверяли ей свои секреты и беды, мужчины флиртовали, и готовы были услужить, если это было им не слишком трудно. А она? На репутацию связи на площадке повлиять не могли, в их киношном мире это было приемлемо, на Георга с каждым годом Марине было всё больше и больше наплевать.

Один раз у неё кое-что было с самим Кончаловским. Он на «Мосфильме» снимал «Сибириаду», а Марина работала у него вторым ассистентом. Один раз несколько дней подряд шёл дождь, они выбились из графика, мэтр сидел в номере

и каждый день пил. Марина зашла к нему вечером по делу, он налил ей рюмочку, Марина просидела у него долго, он ей рассказывал о своих бабах, о горестях жизни, о том, что всё «хуёво», что всех женщин он не может воспринимать по-человечески, он их видит только через глазок воображаемого объектива, что они для него просто часть природы. Разве это нормально: он смотрит и видит её в кадре, хорошо она выглядит или плохо, как её надо снять? Вот так? Или лучше так? Вот такой он ужасный человек, несчастлив, что ему делать, и сейчас этот чёртов дождь. Никто его не понимает, всем наплевать, все надоели, а вот Марина... «Ты хорошая баба, я чувствую, а тебя хочу... ты же не уйдёшь... не бросишь меня?» Марина не бросила, мэтр был сильно нетрезв, ничего такого уж особенного из себя не представлял, Марина прекрасно знала, что женщин у него было, как грязи, что она просто ему под руку подвернулась, что ни в её, ни в его жизни этот единственный раз ничего не изменит, да и жизнь-то у них с Кончаловским была разная. Да знала она это всё, конечно, не обольщалась, не строила иллюзий, но... она была с Кончаловским! Это вам не кто-нибудь! Это Кончаловский, а не какой-то там Георг...

С тех пор Марина себя зауважала, её прямо распирало от гордости. Нет, она никому про мэтра прямо не рассказывала, но упоминать его стала в разговоре с друзьями и приятелями как «Андрона». – «Мне Андрон говорил... А Андрон считает... Мы как-то с Андронем...»

А между тем у Марины начался новый роман, причём с человеком, которого она давно знала, но даже и предположить не могла, что он будет её гражданским мужем. Обычным мужем он ей быть не мог, у него уже была жена.

Гарри был бойфрендом дочери Георга, Алэны. Когда Марина только сошлась с Георгом, Алэна была подростком, угловатой, высокой девочкой с прямыми светлыми волосами, типичная скандинавка, но без кобылистого величия мифологической великанши. Алэна жила с матерью в Риге, говорила по-русски с тягучим, стильным акцентом и довольно часто приезжала к отцу в Москву. Марина готова была сделать для девчонки всё что угодно. И на съёмки она её брала, и врачей для неё искала, магазины, детские ёлки, дефицитные билеты, путёвки в дома отдыха. У них установились доверительные, но хрупкие отношения. Алэна хотела быть Марине подружкой, а не дочкой. Про настоящую её маму они старались не говорить. И вот, Алэна стала взрослой, поступила в медицинский институт в Риге и каким-то образом познакомилась в Москве с Гарри, кажется, на какой-то премьере в Доме кино. Марина любовалась их парой совершенно бескорыстно, она вообще не была слишком завистливым человеком. Он, стройный, черноволосый, один из первых начавший в Москве заниматься карате, в дымчатых очках, намного старше своей девушки. Гарри просто прекрасно смотрелся на фоне молоденькой прибалтки модельной внешности, с почти белыми волосами до плеч, длинными ногами и

прозрачными серыми глазами. Марине даже показалось, что они любили друг друга. Она вообще верила тогда в любовь, хотя считала, что лично ей пока не везёт. Впрочем, своего Георга она в своё время любила, так ей казалось.

Гарри был мужчиной экзотическим. Его родители – пожилые, полные весёлой силы и достоинства, самодостаточные люди: мама Яна – дизайнер по интерьерам, а папа Тадеуш, известный нейрохирург, были выходцами из Польши. Свою «польскость» они не забывали, а наоборот, всячески культивировали. Единственного сына они воспитали европейцем и снобом, назвав его Гарри. Да, он был вовсе не Игорь, Игорёк, Гарик, он сразу был именно Гарри. Мальчик закончил ВГИК и сразу стал снимать интересные по тем временам документальные фильмы, получающие международные призы. Он и правда был талантлив. Однажды, попав на съёмки в Англию, Гарри познакомился с англичанкой и женился на ней, став абсолютно независимым от советской конъюнктуры. Брак с англичанкой был странным. Прекрасно говоривший по-английски Гарри жил в Лондоне с женой в довольно дорогом таунхаусе, работал на местных студиях, но потом надолго приезжал в Москву без жены и жил своей жизнью: работал, заводил друзей и подруг. Это была жизнь на два дома, в его случае позволительная и всеми принимаемая. Как бы в Москве у него не были женщины, как бы он к ним не относился, Гарри всегда считал себя женатым человеком и разводиться даже не помышлял.

Отношения с родителями, особенно с матерью, у него были сложные: два, исключаящие друг друга эгоизма, нежелание в чём-то уступить или чем-то поступиться. Он стал видеться с родителями всё реже и реже, заходил на несколько часов и с трудом выдерживал материнские упрёки и колкости. Наверное, ему хотелось иметь простую, милую, всепрощающую маму, но Яна была светской леди, желающей и умеющей блистать. Они не хотели и не могли быть друг для друга опорой. Яна хотела, чтобы сын восхищался ею как мужчина, а он не мог... Новая его пассия, Алэна, Яне не нравилась, она считала её флегматичной, холодной «рыбой», не выходя в этой оценке за рамки общепринятого стереотипа. Гарри любил Алэну чуть больше полутора лет, не так уж долго, зато интенсивно и красиво. Подробности об этой поре его жизни Марина не знала, Гарри ей об этом не рассказывал. Потом всё кончилось, причём довольно внезапно. Началась перестройка, всем прибалтам надо было определяться: здесь или там? Удобная, привычная Москва, полная связей, друзей, профессиональных шансов или родина, язык, семья? И Георг уехал в Ригу. Алэну там ждала мать. Она поняла, что никакого будущего у неё с Гарри нет. Их любовь красива, в нём есть нечто такое, что в Риге ей не найти, но... с ним у неё никогда не будет семьи и детей. Он говорил ей об этом прямо и часто. Он старел, это ещё не было сильно заметно, но... Сколько ему ещё осталось до явной старости? Не так уж и долго. Ей 25, а ему 45. Красиво, но многовато. Алэна

всё взвесила, и с болью в сердце, но полная решимости, уехала домой. Тогда-то Марина и вступила в игру, они сошлись, для обоих наступила смена декораций, которые не менялись в их жизни довольно долго.

Гарри жил в квартире у родителей, было лето, Яна с Тадеушем были на даче. Он позвонил Марине вечером... Она сразу по голосу догадалась, что он изрядно выпил:

– Марин, ты одна? Что делаешь?

– Да. Ничего особо не делаю. А что? У тебя что-нибудь случилось?

– Ну, с чего ты взяла? Ничего у меня не случилось. Всё в порядке. Почему ты спросила?

– Тогда я не понимаю, почему ты звонишь?

– Просто так...

– Ой, не выдумывай. Ты мне никогда просто так не звонишь. Хочешь приехать?

– Хочу. Ты одна?

– Одна. Была бы не одна, не приглашала бы. Что с тобой всё-таки?

– Алэна уехала. Я тоже один. Ладно, я выхожу, беру такси. Купить что-нибудь?

– Что ты имеешь в виду? Ты голодный?

– Голодный и выпить хочу.

– А может тебе хватит?

– Марин, послушай, никогда мне не говори, что мне делать, я не люблю. Я сам знаю, когда мне хватит. Ты поняла?

– Гарри, не надо так со мной разговаривать. Не хочешь – не приезжай. Ты мне позвонил, не я – тебе.

– Ладно. Забудь. Я через полчаса буду.

Минут через сорок Марина услышала, как в её тёмном и тихом дворе сильно хлопнула дверца машины, и в подъезде заработал лифт. Гарри стоял в проёме раскрытой двери в расстёгнутой рубашке, мятый шейный платок, в руках початая бутылка коньяка и небольшой торт. Марина добросовестно пожарила ему омлет с консервированными шампиньонами и варёной колбасой. Внезапно она поняла, что тоже хочет есть. Она нарезала сыр, выложила виноград и разложила по тарелкам толстые куски омлета. Гарри много пил, шутил, что-то рассказывал о работе. Потом сел в маленькое кресло и закурил трубку. Марина и раньше видела мужчин, курящих трубку. Но Гарри курил трубку так изящно и органично, что Марине показалось, что они сидят не в её крохотной квартирке на окраине, а где-нибудь в коттедже у моря в Нормандии или Бретани. Она там никогда не была, но Гарри виделся ей не обычным московским дядькой средних лет, а европейцем. В нём было что-то странное, необыкновенное, нездешнее. Она выпила несколько рюмок и почувствовала, что голова её предательски закружилась. Прежде чем полностью себя «отпустить», Марина ещё успела иронично подумать, что она «специалистка» по «иностранцам». Нечто подобное привлекало и в Георге. Но что из этого вышло? Пока Гарри был с Алэной, она не воспринимала его как «объ-

ект», это было бы неправильно, но сейчас... Он был ничьим и поэтому она решила не теряться, а там уж как получится. Красивый, стильный, привлекательный мужик, хотя она его совсем не знает.

Гарри расслабился и долго рассказывал Марине о своей любви к Алэне:

– Маринка, понимаешь, это такая девочка... Такая девочка... Она бывает прозрачна... Она природна, как ручей, как ветер. Сколько в ней естественности, которую мы здесь не видим. Она – ребёнок, я не мог её обманывать... Она права, я ей не нужен... Она права, у неё вся жизнь впереди, но я-то как буду жить... как я без неё? Я ни с кем теперь не смогу. Марин, я знаю, ты меня понимаешь. Скажи, Марин, понимаешь? Ты совсем другой тип женщины, ты способна меня понять, ты такая же как я... Понимаешь, о чём я?

Марина не понимала, и даже не старалась слушать этот пьяный монолог, жалостливый, бессвязный и пошловатый. Алэна ребёнок? Как бы не так. «Девочка» нашлась! Ей почему-то были неприятны слезливые излияния взрослого мужика, который глупо увлёкся молоденькой девчонкой, годящейся ему в дочери. Что уж такого интересного он в ней нашёл? Провинциалка. Чёрт их, этих мужиков, поймёшь. Впрочем, мужчинам следует говорить то, что они хотят услышать... И Марина сказала ему:

– Гарри, ты благородный человек. Ты прав: пусть она живёт без тебя, ищет свою любовь. Зачем ей мешать. Ты, с тво-

им опытом, наверное, нуждаешься в другой женщине. Прошло бы несколько лет, и тебе бы первому стало с ней скучно. Не потому что она глупа, а потому что вы с ней находитесь на разных этапах жизни. У тебя уже ничего не может быть просто. Разве тебе было бы достаточно просто поездок, ресторанов, секса? Нет. Ты, милый, и сам себя не знаешь, не чувствуешь себя до конца. Я вот могу тебя почувствовать, потому что я – женщина, а она, как ты говоришь, ещё девочка, что с неё взять. Вы с ней разошлись во времени. Не расстраивайся, милый, всё пройдёт, всё будет хорошо.

Марина и сама не заметила этого слова «милый». Всё оказалось не так уж сложно: через час она уже лежала с Гарри на расстеленном диване, совершенно голая. Он плакал у неё на плече, потом утешился, после любви сразу заснул, смешно причмокивая и горестно вздыхая. Марина смотрела на его правильное, красивое лицо, неуловимо по типу похожее на Алена Делона: та же смесь мужчины и мальчика, опыта и наивности, вероломства и привлекательности, предательская обольстительность вечной, культивируемой молодости, и звериный, но привлекательный эгоцентризм Нарцисса. Хорошо, что Алэна уехала. Скатертью дорожка.

Марина помнила, что за весь вечер Гарри говорил только о себе, ни разу не задав ей ни одного вопроса про неё саму, про Георга, про сына. Она вообще мало говорила, Гарри не так уж были нужны её разговоры, ему надо было самому говорить, бесконечно повторяя одно и то же, снова и снова, не

нуждаясь в её реакции. Он эгоистически использовал её как транквилизатор, как таблетку, которая принесла бы ему облегчение, но не более. Марина думала, а что дальше? Гарри ей нравился, упускать его она не собиралась, а там... Там видно будет. Главное, он талантлив, рядом с талантом быть так приятно. Андрей вроде тоже считался талантливым, но это не то... Андрей – хороший мастеровой, но без полёта, а вот Гарри... Что-то такое в нём чувствовалось.

Общие знакомые приняли, что Марина теперь с Гарри. Они даже вместе на нескольких фильмах работали, хотя такое удавалось редко. Иногда Марина себя спрашивала, а хотела ли она действительно, чтобы он был её мужем: честь по чести – ЗАГС, свадьба, смена фамилии? Да, это было бы неплохо, но представлялось таким несбыточным, что Марина привыкла любить своё одиночество. Гарри сразу дал ей понять, что самое для него страшное в отношениях – это ущемление его свободы, навязываемая ответственность, ненужные ему обязательства. Он уезжал, приезжал, жил с родителями, с Мариной, в Доме творчества в Болшево, ездил на съёмки, пропадал надолго, не звонил, не отвечал на звонки, не желал отчитываться о том, где он, как проводил время, с кем...

Маринин сын, сначала подросток, потом юноша, в грош её не ставил, а если ему было нужно внимание, деньги или возможность отдохнуть, всегда ехал к бабушке с дедушкой, где встречался с отцом. С матерью у него установились от-

ношения поверхностные: он не обращал внимания ни на её работу, ни на личную жизнь, ни на неё саму, взамен ожидая того же от неё. Это происходило даже не от отсутствия любви или уважения, а скорее от отсутствия интереса к её персоне. Когда Марина стала жить с Гарри, он мог хотя бы попытаться стать для парня близким человеком, но не пожелал взваливать на себя такое муторное и неинтересное ему дело. Мальчишка не был его заботой. Когда они жили вместе в Мариной квартире, иногда это продолжалось месяцами, иногда всего несколько дней, Гарри относился к ней замечательно: духовная близость, общие друзья, проникновение в интересы друг друга, нежность, долгие доверительные разговоры, секс... Марина привыкала: рядом был муж, так она про Гарри и думала, беря на себя заботу о его родителях, которые тоже, казалось, принимали её как родную. А потом раз... и всё: Гарри исчезал без малейшего намёка на то, когда снова вернётся. К английской жене Марина его не ревновала: её как будто бы и не было в их жизни, слишком всё это было далеко, в другой жизни. Зато, когда он уезжал, Марина очень быстро приспособливалась быть одна: нет ни стирки, ни готовки, ни скучноватых семейных вечеров или воскресных походов к родителям.

Марина привечала в своём доме разную бесприютную публику: то молодую провинциальную актрису: бедная... денег нет... в Москве без папы-мамы... друзей нет... Девушка месяцами жила в её квартире, ела, пила, носила Марини-

ны вещи, которые Марина ей потом дарила. Она нравилась Марине – она молодая, без роду без племени, и, главное, видит в ней опору и наставницу. Но потом девушка, в которую Марина так много вкладывала, внезапно исчезала. Через несколько лет становилось известно, что карьера её не задалась, мужики были сволочи, а девушка растолстела и спилась. Потом была дочь умершей какой-то дальней подруги. Та же история: молодая, красивая, одна, бойфренд – сволочь, никчёмность, а ведь Марина предупреждала... а тут ребёнок. Очаровательная крошка, воспринимаемая Мариной как суррогат внучки. И опять начинается. Они сначала живут у Марины в доме, потом снимают, а девочка на неделе живёт с Мариной. С ней надо гулять, укладывать спать, играть. Девочке покупается лучшая еда, дорогие вещи, игрушки. То ей нужен комбинезончик, то нарядное платье, то ботиночки... Марина готова на что угодно, не стесняется просить друзей в Америке всё это покупать и присылать. Деньги – не проблема. Крошке ничего не жалко. А потом молодая красивая девушка из Мариной жизни исчезает, вместе с дочкой естественно. Вряд ли Марина сильно страдает, она занимается работой и кем-то другим. Людям всегда нужна её помощь.

Бабушка с дедушкой между тем умирают: сначала дед – быстро, а потом бабушка – долго, от рака. Нужно ухаживать, менять бельё, кормить, сажать, следить за пролежнями, мыть, договариваться с медсестрой, чтобы бесперебойно колола обезболивающие. Андрей приезжал посидеть у

маминой постели, давал деньги, пара часов и бывший муж с явным облегчением уезжал, всегда ссылаясь на неотложные дела. Марина приезжала каждый день, в последние недели оставалась на ночь, вместо сиделки. Бывшая свекровь и умерла при ней. Похороны, поминки – Марина не подвела.

А Гарри её бросил. Просто в один прекрасный раз не вернулся. Марина его искала, узнала, что он в Москве, но не у родителей. Поняла, что он кого-то себе нашёл. А она? Мог бы прийти, объясниться, проститься в конце концов, но нет... Гарри не желал делать то, что было ему неприятно. Марина пыталась достучаться до него через родителей, но тщетно, они понятия не имели, где их сын. Совсем старые, больные, уже беспомощные, но всё ещё гордые, они любили Мариныны звонки и приезды. «Нет, нет, Мариночка, нам ничего не нужно. Оставь посуду, я сама всё уберу...» – Не хотели признаваться в немощи. «Нет, Мариночка, Гарри не звонил... Я бы тебе сказала. Ты же знаешь нашего сына... Он ни о ком думать не способен... Я же тебя предупреждала...» – Яна и раньше говорила про сына нелицеприятные вещи, но кто ж её тогда слушал.

Марина была бы рада выкинуть Гарри из головы совсем, но к сожалению, он не давал ей о себе забыть. Время от времени, иногда мог пройти почти целый год, он вдруг звонил или присылал сообщения на телефон: «Я сейчас приеду. Я люблю тебя, Маринка, и хочу тебя видеть». Марина читала текст и писала «Хорошо, жду». Пару раз он действительно

приезжал, вдрызг пьяный, что-то неразборчивое ей бормотал: «Ты одна меня понимаешь... Прости... Только не выгоняй...» И заваливался спать. Наутро опять исчезал. Если звонил по телефону, Марина, наученная горьким опытом его пьяных ненужных ей бдений, просила не приезжать, но Гарри горячо шептал ей, что она ему по-прежнему очень нужна, и заваливался к ней вновь, нетрезвый, расхристанный, заросший щетиной, но с букетом, тортом и бутылкой. Теперь всё чаще и чаще он принимался говорить ей о своём пошатнувшемся здоровье: болят ноги, сердце пошаливает, диабет открылся, сам колет себе инсулин. Марина жалела его, но через какое-то время начинала укорять в том, что он к ней плохо относится, что так не поступают, и ещё про родителей, которых он тоже бросил. «Маринка, не надо... Прости... Да... родители, а где были мои родители, когда мне было по-настоящему хреново?» – надо же Гарри до сих пор считал себя маленьким ребёнком, которому мама с папой чего-то недодали.

В последний раз он позвонил Марине под самый Новый год. Сказал, что он сейчас приедет, и они будут вместе встречать... Марина накрыла стол, зажгла свечи, включила гирлянду на ёлке, ждала, вслушиваясь в каждый шорох на лестнице, но он так и не пришёл, не позвонил, на её звонки не ответил. Она, как обычно в таких случаях, начала представлять его в морге, но позвонив Яне с поздравлениями, узнала, что он родителям недавно звонил, а раз так, то он жив...

Просто у него наметились другие планы. Сидение за накрытым столом в новогоднюю ночь не прошло для Марины даром. Она впала в депрессию, много ела, набрала вес, перестала без необходимости выходить из дома.

Отношения с сыном заморозились окончательно. Жил отдельно, ни в чём не нуждался, много работал и зарабатывал. Денег ей он никогда не предлагал. Скорее всего, если бы она о деньгах попросила, он бы дал, но Марина не просила, а самому сыну такая вещь в голову не приходила. Он жил с разными женщинами, с одной достаточно долго, и Марина каждый раз надеялась, что он женится, и у неё будут внуки, но нет... Создавать семью Кирилл не собирался, подводя под своё кредо философскую базу: «Дети не нужны... Они осложняют жизнь... Не хочу и не могу нести ни за кого ответственность...» Марина мучилась, за сына болела душа. Со своей холодностью к подругам, болезненной, почти маниакальной чистоплотностью и любовью к порядку, он не казался ей счастливым человеком, но повлиять на его жизнь она не могла, только дружила с его девушкой, которую она сделала своей подругой, а на самом деле шпионкой, которая ей докладывала о сыне и его образе жизни. Иначе Марина о нём вообще бы ничего не знала. Изредка они втроем встречались в ресторане, где сын платил за ужин, разговаривали, создавая иллюзию благопристойной семьи. Марина была благодарна девушке, она знала, что без неё видела бы сына ещё реже.

Время от времени у Марины в доме появлялись новые друзья или друзья друзей. Она им помогала: то сидела с чужим ребёнком, то у неё жила чья-то мать, чья дочь лежала в Москве в клинике, то делала каким-то коллегам любезности, покупая им через американских знакомых разные дефицитные вещи. Знали ли эти люди, насколько эти покупки нелегко Марине давались: сначала надо было попросить, потом переводить деньги... Зачем она так поступала, для чего ей была нужна подобная благотворительность? Вопрос непростой. Марине нравилось показывать окружающим свои широкие возможности, что она многое может, причём через «друзей», которые... О друзьях говорилось небрежно... в Америке, в Израиле, в Германии, в Англии... Ей было приятно, что у неё есть друзья повсюду, они её любят, ценят, и стоит ей попросить, ей тут же услужат... не проблема... пустяк... вы не можете достать, а я могу... Нет, не благодарите, мне ничего не нужно. И действительно Марина была совершенно бескорыстна, может, когда-то она что-нибудь и ждала от окружающих, но ничего не получая, привыкла не ждать, а полагаться только на себя.

Этот обычный день ей не очень запомнился, так... в общих чертах. Сколько Марина потом не пыталась припомнить детали, они от неё ускользали. Она находилась в паузе между картинами. Никуда ей было не нужно, только по своим собственным делам, такие дела Марина была мастер себе придумывать. Кофе с подругой, ланч с приятелем, бассейн, парик-

махерская, массаж... Марина полностью раздевалась, освобождая своё сильно располневшее, но ещё держащее форму, тело от одежды, ложилась под свежую простыню и ждала своего разбитного весёлого Витю в предвкушении удовольствия. Он давно уже превратился из простого массажиста в приятеля, хотя за пределами массажного салона они никогда не виделись. Витя с ней болтал, делал комплименты, немного делился своими проблемами или просил совета. Он-то Марину вовсе не считал приятельницей. Она была для него просто средних лет регулярной клиенткой, дающей каждый раз приличные чаевые. Никакого желания болтать во время сеанса у Вити не было, но он знал, что клиентки это любят. Он выглядел нарочито расстроенным, поникшим, растерянным, чтобы Марина могла поиграть в его старшую сестру или подругу, поддержать его ценным советом всё понимающей опытной бабы. Если Витя видел, что Марина сама чем-то озабочена, он надевал маску свойского весельчака, пытался её развлечь и рассмешить. Марина Витиных профессиональных уловок не замечала. Массажист он был хороший, бывший спортсмен, коренастый, с гибкими сильными пальцами. Бабы лежали перед ним голые, чуть прикрытые простынёй, и тут он балансировал по тонкому льду: не позволять себе ничего лишнего, держаться профессионально, не задерживать свои руки на разных частях тела чуть больше дозволенного, гасить блеск глаз, не пялиться, не позволять дыханию учащаться, не давать женщине повода взглянуть на него

как на сексуального партнёра... И однако, с другой стороны, надо, чтобы она понимала, что он её «видит», «чувствует», «ценит» как женщину, что она ему была бы желанна, если бы... они оказались в другом месте, в другое время. Трудная у Вити была работа. Он предпочитал клиентов мужчин, но женщин было гораздо больше, и к ним следовало приспособливаться.

Витя уже прошёлся по её ногам, шее, плечам, как обычно долго массировал спину. Марина расслабилась, почти уснула, Витин голос, просящий её перевернуться, вернул её к действительности. «Так, Мариночка, теперь на спину... ага... прекрасно...» Витины пальцы отвернули простыню, обнажив Маринину грудь. Когда-то он её спросил, хочет ли она, чтобы он касался её груди, он мог это делать только по желанию: да-да, нет-нет. Марина согласилась, тем более, что он массировал её даже и не грудь, а рядом, плечи, шею, средостение. Во всяком случае никаких эротических ощущений от такого массажа у Марины не возникало. Грудь не была её эрогенной зоной. В чисто эстетическом отношении она не делала никакой погоды, так как была очень маленькой, почти плоской, можно было бы даже лифчик не носить. В голом состоянии Маринина грудь никуда не заваливалась, не обвисала и не торчала. В юности Марина грудастым девкам завидовала, но сейчас ей было совершенно всё равно, какая у неё грудь. Витины пальцы легонько коснулись всё ещё твёрдых сосков, потом скользнули между грудями, надавили

на кость, спустились вниз, потом опять прошлись там, где кость, и снова... «Что он там массирует? Сроду он так не делал...» – ощущение было никаким, ни плохим, ни хорошим. Марина снова закрыла глаза и принялась думать, что вечером ей бы следовало сходить в Дом кино на премьеру фильма, снятого приятелем. Он её приглашал, неудобно не ходить. Да почему бы и не сходить.

– Марин, что это тут у тебя?

– Что?

– Что-то тут у тебя есть... я чувствую под пальцами.

– Что ты чувствуешь?

– Не знаю. Какая-то шишечка. Раньше её не было. Не болит?

– Не болит. Да нет у меня там ничего.

– Есть, Марин. Я сразу заметил. Наверное, это пустяк, но надо показать врачу, так не всякий случай.

– А что это?

– Ну, Марин, откуда я знаю? Я же не врач. Просто шишечка. Давай свой палец...

Марина упёрлась пальцем в промежуток между грудями и ближе к левой сразу нащупала маленький желвачок. Примерно с две копейки, плотный, чуть вытянутой формы. Нажимать на него было совершенно не больно. Марина как-то сразу поняла, что это рак. Она не подала виду, дала Вите доделать массаж, он давно перевёл разговор на другое, но когда Марина уходила, опять напомнил ей о враче. Лицо у него

было усталым и озабоченным, вовсе не таким уж юным. У Марины создалось впечатление, что Витя не в первый раз с «желвачком» сталкивается.

К врачу она пошла буквально назавтра, в платную поликлинику. Осмотр, ультразвук, пункция... ну да, рак. Хорошо, что застали. Можно и нужно лечить. В первый день после официального диагноза Марина лежала на своём раскладном югославском диване, смотрела в темноте в одну точку, и вела сама с собой диалог:

– Я умру?

– Нет, ты не умрёшь. Умрёшь, как все люди, но не сейчас.

– Откуда ты знаешь? Разве можно вылечить рак?

– Можно. Спасибо Вите, вовремя застали. Ещё не поздно.

– Я не хочу умирать.

– Ну и не умрёшь. Нужно бороться.

– Я не могу. Мне страшно.

– Сможешь. За жизнь надо бороться.

– Мне страшно.

– Да, очень страшно. Кто будет со мной...

– Никто, ты же знаешь, что никто.

Марина заплакала, и долго плакала одна в темноте от одиночества, от страха, от жалости к себе, от невозможности ничего изменить. Почему рядом с ней сейчас никого не было. Как же так? Марина не могла себе этого объяснить и плакала ещё горше.

Насчёт лечения всё организовалось очень быстро: да рак,

левая грудь, почти не метастазировал, но всё-таки задето несколько подмышечных лимфоузлов. Предстоит вся программа: операция, химия, облучение. Прогноз не такой уж мрачный. Марина сказала обо всём Кириллу, он молчал, стараясь избегать её взгляда, потом спросил, чем он может помочь, нужны ли деньги. Деньги, при чём тут деньги? Оказалось, что он был готов заплатить, если надо, за лечение. Да нет, есть у неё деньги, да, да, если будет нужно, она ему скажет, попросит. Кирилл ушёл, и те несколько дней, которые Марине оставались до больницы, он не звонил. Операция прошла успешно, доктор сказал, что всё убрал. В больницу Марину отвезла подруга. Она заехала за ней рано утром, и они отправились на метро на Бауманскую. Подруга уехала, а Марина осталась одна в темноватом зале приёмного покоя. Страх прошёл, появилось деловое решительное настроение. В день выписки она позвонила сыну, он сразу спросил, как она себя чувствует и чем он может помочь? Сказал, что звонил врачу, знает, что операция прошла нормально.

– Меня выписывают. Ты за мной сюда заедешь?

– Нет, сейчас я не могу. Я тебе такси вызову.

– Как не можешь? Я тебя никогда ни о чём не прошу, но сейчас ты должен приехать.

– А какая необходимость, чтобы я приезжал? Я же сказал, вызову такси. Зачем мне ехать и терять столько времени. Я вызываю... давай, счастливо.

– Не надо, я сама вызову. Не беспокойся.

– Не вызывать? Ну, ладно, как хочешь. Отдыхай. Если тебе будет что-нибудь надо, звони.

Марина была практически уверена, что Кирилл за ней заедет, отвезёт домой, сходит за продуктами, останется ночевать. Но он готов был помогать, сводя помощь лишь к деньгам. Ей так было нужно, чтобы он зашёл, поухаживал, поговорил, успокоил, а он просто хотел платить – и всё. Как это вышло, что сын не понимал простых вещей? «Он такой же, как его отец. Что я удивляюсь? К бабушке в последние недели не приходил, зато полностью заплатил за похороны. Почему он такой? Может, ненормальный?» Так Марине думать не хотелось, тем более что и Гарри спокойно жил своей жизнью, не желая принимать никакого участия в жизни ненужных ему людей.

Из больницы Марину могла бы встретить та же подруга, но поскольку она ей сказала, что её встретит Кирилл, подруга не приехала, а звонить ей и признаваться Марине было стыдно. Она действительно вызвала машину, тихонько, стараясь не делать резких движений, уселась рядом с водителем и вполне благополучно добралась до дома, где её никто не ждал.

Лечение ей запомнилось, но как-то урывками. Первая химия: вот она лежит в палате на кушетке, под капельницей, пытается расслабиться, ей измеряют давление, пульс, ещё что-то подключают, врачи ободряюще бубнят, что всё, мол, будет хорошо, хотя могут быть неприятные ощущения, она

должна быть к ним готова. Марина вдруг замечает, что у неё начинает страшно першить в горле, и потом сразу делается нечем дышать. Пальцы её сжимают одеяло. Врачи что-то делают, кажется, дают подышать кислородом. Марину бьёт озноб, и она теряет контроль над мочевым пузырём. Очень хочется спать. После первого вливания Марина довольно быстро отошла, а потом началось. Сама-то инфузия переносилась легче, зато началась тошнота и рвота, но это ещё можно было терпеть. Марина начала терять волосы. На расчёске оставались целые клоки, пучки волос падали в раковину и на пол. Она знала, что так будет, но всё равно каждый день плакала, видя как сквозь остатки волос просвечивает розовая кожа черепа. Какой ужас. Лучше бы она сразу побрила голову наголо, но идти с этим в парикмахерскую она себя заставить не могла. Никто, собственно, не видел её абсолютно лысую голову. Марина сразу надела парик. Люди, с которыми она в этот период встречалась, даже ни о чём не догадывались.

Она подолгу лежала на разобранном диване, смотрела телевизор. Дикая слабость, невероятная утомляемость, сонливость. Марина закрывала глаза, хотелось уснуть, но не получалось. Сон был некрепкий, тягостный, прерывистый, после него Марина чувствовала себя ещё более уставшей. Она вообще бы не вставала с дивана, но ей часто приходилось бежать в туалет, её донимал понос. На диван она возвращалась в холодном поту. Её бил кашель, усугубляющий тошноту.

Несколько раз начинала идти носом кровь, которая не останавливалась часами. Маринино настроение менялось: то от жалости к себе она не могла сдержать слёз, то, наоборот, ей казалось, что она просто обязана эту реку переплыть, пусть трудно, но останавливаться нельзя, иначе она умрёт. В такие минуты Марина была полностью уверена, что всё у неё будет хорошо, просто сейчас надо потерпеть.

Перед началом сеансов облучения Марина лежала на специальном столе, и доктор, молодой дядька, рисовал на её груди чёрным маркером. Марине казалось, что облучение намного легче, чем химия. Может и так, но зато ничто не создавало в ней такого чувства заброшенности и одиночества, чем пребывание внутри аппарата. Техник закрывает ей грудь какими-то накладками, просит не двигаться, спокойно дышать, не напрягать мышцы. Как всё вроде бы просто. Но потом все уходят, закрывают толстую глухую дверь, и ты остаёшься один, как лабораторное животное, за которым наблюдают через окошко. Что-то перемещается, в камере душно и шумно. Дикое неестественное состояние: механический голос, который советует не беспокоиться. Как не беспокоиться. Марине тревожно, тягостно, страшно, усилием воли она старается не шевелиться, пока в неё входят невидимые смертоносные частицы, про которые Марина ничего не понимает. Как ей говорят, они убивают раковые клетки, но Марине кажется, они всю её убивают. Кожа на груди сожглась, покраснела, шелушилась и болела.

Примерно год Марина лечилась, а потом стала считать, что у неё всё прошло. Ей хотелось так думать, несмотря на погрузневшее тело, на распухшую левую руку, головные боли и повышенную раздражительность, которую она в себе замечала и пыталась взять под контроль. Самым страшным был раз в год поход к онкологу. Она морально к нему готовилась, собиралась с духом, внушала себе, что всё по-прежнему хорошо, делать ничего не надо, и всё-таки была внутренне готова к приговору: к сожалению, после ремиссии процесс возобновился... можно ещё побороться, но как верёвочке ни виться... Марина сидела в коридоре перед кабинетом, её лихорадило. У врача она пыталась шутить, но доктор всегда замечал у больных фальшивое бодрячество, внутреннюю обречённость, жалкий просящий взгляд. Марина – не исключение: она тоже бодрилась и тоже страшилась. После ежегодного обследования, про которые она никому почти не говорила, Марина до следующего раза расслаблялась и жила своей жизнью. Продолжала помогать Яне с Тадеушем, дружила с женщинами Кирилла, старалась услужить друзьям, но после лечения что-то в её психологии явно переменилось: Марина начала жить для себя. Она так же тратила себя, но не до доньшка, не самозабвенно, не в явный себе ущерб.

Это был период особенной востребованности на работе. Фильм шёл за фильмом. Марина жила в командировках, на съёмочных площадках. Перерывов она почти не делала. И хотя каждый раз буквально падала от усталости, никаких

отпусков Марина не признавала. Отпуск предопределял поездку, а ехать ей было не с кем. А вот на работе её ценили. Очень ценили. Должность её давно перестала называться «ассистент режиссёра», теперь Марина была режиссёром. Она так и говорила, если её спрашивали о работе: «Я – режиссёр». Вот так значимо, звучно, веско, престижно. С Мариной советовались, она выезжала на поиски природы, выбирала актёров, составляла графики рабочих смен. На работе она подавала себя как мэтр. В кино нужны её опыт, знания, чутьё. Марина искренне считала себя кинематографисткой. Она понимала в операторской работе, в монтаже, в сметах, кастингах. Она – кинематографистка из семьи кинематографистов, профессионалка, каких сейчас уж нет, старая школа. Представляясь режиссёром, Марина даже сама для себя забывала сделать разницу между режиссёром и режиссёром-постановщиком. Она могла, конечно, в соответствии с инструкциями, указать, куда ставить декорации и реквизит, расставить массовку, вызвать занятых в сцене актёров, но другой человек представлял в своей голове будущий фильм, кричал «мотор, начали», а потом «стоп, снято», делал детальную раскадровку в соответствии со своим вкусом, прорабатывал режиссёрский сценарий, отвечал за всю продукцию. Марина с важным видом читала сценарии, они ей нравились или не нравились. Проблема была в том, что Марина никогда не умела объяснить «почему», критический разбор произведения она делать не умела. Когда-то она отвечала за

«хлопушку» и монтажные листы, делала в кадре метки, но в последнее время ей уже не приходилось заниматься такими мелочами.

На работе Марине было хорошо, она чувствовала свою востребованность и нужность, и даже после съёмок её финальная фраза «смена закончена, всем спасибо» звучала в её устах веско и значительно. Марина была в своей стихии. И как бы она не старалась привнести в свою жизнь иные смыслы, работа в ней оставалась самым важным и значительным делом. Впрочем, этот главный фактор по поводу своей навязчивой привязанности к работе Марина не осознавала, зато был резон, лежащий на поверхности – деньги. Марине было нужно довольно много денег, чтобы удовлетворять свои растущие потребности. Она не ездила отдыхать за границу, не тратилась на образование детей, зато покупала дорогие вещи. Небольшая красная немецкая машина была её гордостью. Марина сидела за рулём и ощущала себя самодостаточной, независимой деловой женщиной, которая сама себя обеспечивает, и поэтому ни перед кем не обязана отчитываться. Машины нужно было периодически менять, каждый раз покупая модную престижную марку. Вот, например, корейская Киа – отстой, на такой машине ездить стыдно, её никто не покупает. Кто «никто» – Марине было трудно объяснить. «Общество», её круг – вот кто. Она достигла немалого положения и должна ездить на хорошей машине. Марина даже приучилась часто говорить окружающим, что день-

ги для неё – не проблема. Теперь Маринины коротковатые пальцы были унизаны кольцами. Каждый год она покупала себе средней руки бриллианты. Кольца завораживали её своим блеском. Увидев кольцо в магазине, взглянув на нештучную для Марины цену, она начинала так сильно его хотеть, что не могла удержаться от покупки, любовалась им на пальце и, слегка ужасаясь своей расточительности, успокаивала себя, что она наконец-то имеет право и заслужила. Другим женщинам ювелирные изделия дарили мужчины, Марина же дарила их себе сама, уподобляясь бедным одиноким женщинам, которые сами покупают себе букеты. Вынужденная самостоятельность наполняла Марину гордостью, что она может обойтись без посторонней помощи; с другой стороны, она понимала, что гордиться тут особо нечем. Марина обожала одеваться: молодёжный стиль, лосины, блузы, высокие сапоги. Это было стильно, и как Марина полагала, очень сексуально. По-настоящему женственных вещей она носить так и не научилась, в её гардеробе не было ни платьев, ни каблучков.

В перерывах между съёмками Марина бывала одна, не особенно тяготясь своим одиночеством. Она захлёб читала женские романы, смотрела по компьютеру фильмы, как правило, иностранные, российские, как она говорила, теперь ничего не стоили. Молодые режиссёры ничего не умели, а мэтры состарились. Ни в театры, ни на концерты она никогда не ходила. Сама того не замечая, Марина повторяла расхожие

растиражированные мнения, речь могла идти об искусстве, литературе, политике. Общественная жизнь её собственно мало интересовала, зато она с невероятным интересом могла ждать международной премьеры «50 оттенков серого». Какой такой особый шарм можно было отыскать в этой весьма банальной порнографии с претензией на философский охват современной действительности, Марина не понимала, но пыталась на эту тему порассуждать: она его любит, она с ним спит, она рождает от него ребёнка. В выделении этих этапов женской биографии Марине виделась необыкновенная глубина.

Неделя у Марины проходила по строгому графику: бассейн, косметичка, массаж. По вечерам традиционные два бокала красного вина в одиночестве. Она теперь пила каждый день. Доктор ей сказал, что красное вино ей просто необходимо.

С определённой регулярностью Мариной овладевали приступы депрессии. Она меланхолично целыми днями валялась голая под одеялом, отвечая на телефонные звонки и читая разные посты в Фейсбуке. Настроение у неё было хуже некуда. К счастью, эти приступы были недолгими. Жизнь продолжалась со своими повседневными заботами. Марина горячо взялась добывать через знакомых в Америке мотоциклетный шлем для бывшего любовника, оператора, с которым она когда-то работала. Сколько раз ей пришлось говорить этим людям спасибо, оператор себе даже не представ-

лял. Для друзей Марина была по-прежнему готова на всё.

Расплывшаяся, она лежала перед американской подругой в скайпе, усталая, сознающая невозможность заснуть, цепляющаяся за необязательный разговор, и вдруг ей пришло в голову, как доставить себе удовольствие: пусть подруга купит ей три пары трусов. Марина уже была во власти своего желания: сексуальные трусы, «на выход», пастельных тонов. Марина написала это слово, и у неё получилось «постельных» от слова постель. Подруга заговорщицки улыбнулась: «на выход»? Понятно. Да, да. Марина тут же с готовностью объяснила, что у неё есть любовник, менеджер кинофирмы «Царь». Ему 49 лет. Да, вот так. Что с того, что ей 62? Марина, к сожалению, выдавала желаемое за действительное. Она знала этого мужика, женат, двое детей. Они были по работе в приятельских отношениях, болтали, даже были разок в кафе. Ну и что, что он никогда не был её любовником. Просто Марина вечерами видела себя с ним в постели. И вот ей были нужны сексуальные трусы. Что тут непонятного? В последнее время она всё больше говорила о своём возрасте... Никто ей не даёт её лет, она носит молодёжное... Мужика ей найти нетрудно, а вот замуж ей уж точно ни к чему. Она привыкла одна, ей одной хорошо, наконец-то она может жить для себя... Ни за что на свете Марина не позволяла себе признаться, что она одинока, ей плохо... Никого вокруг нет, она никому не нужна. У людей семьи, внуки... А у неё... А почему так, Марина понять не умела и поговорить о своей горечи

ей было не с кем. Посылка из Америки пришла в целостности и сохранности. Марина померила свои кружевные минимальные трусы, они были ей впору. Теперь она лежала в них на диване. Марина ожидала, что обновка повысит ей настроение, но этого почему-то не произошло. И зачем ей эти трусы, куда их надевать? Из последних сил пытаюсь не заплакать, она включила в интернете очередную американскую серию. Перед тем как погрузиться в просмотр, Марина снова взглянула на новенькие трусики с кокетливым атласным бантиком на лобке. Какие красивые и как хорошо сидят. Модель «чики», щёчки, то есть попка торчит из трусов, очень сексуально. Марина удовлетворенно вздохнула и погладила бантик. Всё-таки правильно, что она трусы заказала. Нечего распускаться. Скоро она выйдет на работу, всё будет хорошо, а трусы ей обязательно понадобятся. Сейчас просто мало снимают, киноиндустрия загибается из-за санкций. Марине и в голову не приходило, что кое-что всё-таки снимают... только без неё. «Старая школа» никому не нужна, и ключевое слово тут – «старая»...

Синеглазый ариец

Гера стоял рядом с низкой белой кроватью и медленно раздевался. Первым делом он скинул ботинки. Их пришлось долго расшнуровывать, но он справился. Ни на чью помощь он рассчитывать не привык. Потом снял байковые чёрные штаны, серую курточку, отцепил резинки от чулок, стянул их и аккуратно повесил рядом с остальной одеждой на спинку кровати. Для шестилетнего мальчика он был педант. Так, теперь самое неприятное: надо расстегнуть сзади лифчик. Гера завёл за спину руки, но верхняя пуговица никак не расстегивалась. Маленькая смуглая девочка, которая медленно раздевалась рядом, заметила его потуги и вопросительно посмотрела ему в лицо: «Ну, помочь?» – говорил её взгляд. «Давай, помоги, а я тебе...» Лифчик с болтающимися резинками соскользнул вниз, и Гера, оставшись в одних синих сатиновых трусах и голубой майке, полез под одеяло. Соседка присела к нему на кровать и он, привстав на локте, расстегнул три больших пуговицы у неё на спине. Она тоже была в майке, а трусы у неё были белые. Лифчик был вообще-то вещью девчачьей, но мальчики в их детсадовской старшей группе тоже его носили. Как иначе чулки пристегнуть? Геру все эти мелкие неудобства не очень волновали.

– Всем на правый бок. Ручки под щёку... Выньте их из-под одеяла... Засыпаем. Я здесь, никуда не уйду. Кто болта-

ет? Я всё вижу. Быстро спать!

Навязчивый резкий голос воспитательницы ещё звучал в ушах, но Гера знал, что сейчас он будет слышаться всё глуше и он заснёт. Надо спать – значит надо. Вставать всё равно не дадут, а лежать не шевелясь два часа – одно мученье. Лучше уж заснуть. Он вовсе не боялся воспитательницу. Это она только говорила, что не уйдет. Очень даже уйдет. Гера знал, что как только все улягутся, она пойдет пить чай и болтать с нянечкой в «группу». Так они все называли большую комнату, где размещалась старшая группа. Перед тем как заснуть, Гера успел подумать, что после полдника их посадят в кружок на маленькие стульчики и все будут слушать книжку «Приключения Травки». Гера знает, что у него хорошая память, в отличие от остальных ребят, он запомнил, что книгу написал Сергей Розанов в 1928 году. Травка – это мальчик Трофим, который живёт с родителями в Москве. Понятное дело, никому неинтересно про писателя. Ребята следят за приключениями. Да только что это за приключения? Одни глупости для малышей. Скучно. Гера читает совсем другие книги. Он уже прочёл Жюль Верна и Фенимора Купера, а сейчас открыл для себя Майна Рида.

Гере недавно исполнилось шесть лет, в сад ему ходить скучновато, но родители работают, девать им его некуда. Живут они в соседнем доме, в группе он знает всех ребят и грех ему жаловаться, не так уж тут и плохо. «Приключения Травки» – это совсем глупо, но тут есть нюанс: все книгу

слушают, а Гера её читает, то есть слушает свой собственный голос. Уже с самой осени воспитательница доверяет ему читать книгу ребятам. Гера читает совершенно бегло, осмысленно, без запинок, нисколько не хуже самой воспитательницы. Ребята привыкли и внимательно его слушают, а воспитательница куда-то отходит. И хоть Гера немного устаёт и у него пересыхает в горле, он очень собой гордится, хотя вовсе не собирается свою гордость никому показывать. Гера всегда в ровном спокойном настроении, говорит мало, он умеет улыбаться, но его никто никогда не видит ни смеющимся, ни плачущим. Он себе такого почему-то не позволяет. Почему – Гера и сам не знает. Он не балуется, не орёт, не дерётся и не принимает участия в нелепых соревнованиях «кто точнее письнет» и ещё «на дальность стрельбы». То ли ему это неинтересно, то ли он опасается попасть в дурацкое положение, то ли... Гера ещё совсем маленький и не предается таким анализам. Он в детском саду на очень хорошем счету, это почётно и удобно.

Воспитательницы – простые девки с окраин, если бы они были поумнее, они поняли бы, что маленький Гера очень себе на уме, но не любит высовываться. Ничего этого они не замечают. Он для них просто хороший, умный мальчик. И ещё очень красивый. Длинные чёрные ресницы, ярко-синие глаза и ловкое тело. Какое правильное породистое лицо, но воспитательницы ни за что не смогли бы так всё это сформулировать. Что такое порода, им невдомёк. Гера – просто

хорошенький малыш. На Новый год он был зайчиком. Прелесть.

Гера гуляет один во дворе, он знает всех мальчишек, но дружит только с одним. Андрей его сосед по подъезду. Они всё время вместе. Стучат друг другу в дверь, едят на кухне суп, который им наливает мама Андрея. В школе они бы с удовольствием сели за одну парту, но этого им, конечно, не позволили. Сидеть надо было с девочкой. Правила! Это очень важно, и Гера охотно и легко им подчиняется, так удобнее. Если правила нарушать, то взрослые начнут приставать, а так они оставляют в покое, а это дорогого стоит. Со взрослым вообще, а с учителями в частности, никогда не стоит связываться, это удобнее всего, так легче жить. Гера никогда не мог понять тех, кто лезет на рожон. Рожон себе дороже. Нельзя глупо себя вести.

В младших классах Гера такой же как все. Класс делится на две неравные половины: «рабочие» и «буржуи». Он из «буржуев»: живёт в большой комнате со всеми удобствами, соседи у них только одни. Форма на Гере чистая, пригнанная, хорошо отглаженная, белые воротнички, которые мама пришивает каждую неделю. Гера опрятный, с небольшим каштановым чубчиком. Не мальчик, а чудо: поднимает руку, не выскакивает, раньше всех сдает контрольные, чисто пишет, не ставит клякс, быстро считает в уме. Он отличник и никогда не получает ничего, кроме пятёрок. На самом деле, ему всё равно, что он получает. Геру бы и четвёрка не огор-

чила. Просто получить ниже пятёрки у него не получается. Всё, что происходит в школе, ему невероятно легко.

Он сидит в классе с «рабочими», которые ругаются, дерутся, воруют, хвастаются ужасными вещами, у «рабочих» отец пьёт или сидит в тюрьме, а его папа – инженер, и мама, кстати, тоже инженер. Ударить кого-нибудь для Геры невыносимо. Он сильный, и мог бы... Но мог бы только теоретически, а на практике... Нет, невозможно. Он этого никогда не делал, и не сделает. Впрочем, драться у Геры просто нет необходимости, его никто не обижает и не дразнит. Такого просто не бывает.

Ну да, Гера и сам знает, что он способный, ему легко то, что другим даётся с трудом. У других отцы тоже инженеры, они все и работают на одном предприятии, имеют машины и проводят воскресенья на одной и той же гаражной площадке. Всё у него как у всех, хотя... Не всё. В классе Геру окружают сплошные «Вовы» и «Саши». Попадают «Юры, Коли и Димы», а он – Гера. Ну что это за Гера такой? Гера от Германа. Герман он в классе – один. А фамилия у него Клюге. По-немецки – умный. Так-то оно так, но это же по-немецки. Неприятно. Гера знает, что отец у него правда немец. Предки приехали в Россию ещё при Петре, и Гера с интересом слушает папины рассказы о прадедах, но... быть Германом Клюге неудобно, чтобы носить такую фамилию и не терять лицо, надо делать небольшие дополнительные усилия, и Гера их делает. Какой у него выход? Хотя, «немец, немец...»,

какой он немец... он – русский, как все, но в то же время Гера знает, что не как все, и если бы у него спросили, а хочет ли он совсем-совсем не быть «немцем» и быть Ивановым... нет, не хотел бы, ведь в том, что отец рассказывал про немцев была особая притягательность, трудная, но почётная ответственность, никому тут неведомая. Пусть будет так как есть.

Геру восемь лет. Он уже ходит во второй класс. Он боится и лежит один дома. Мама не могла не пойти на работу. Её начальник был бы недоволен. Она и так в последнее время часто отпрашивалась, чтобы ходить с ним к врачу по поводу каких-то «шумов в сердце», которые Геру вовсе не мешают. Когда врач с мамой всё при нём обсуждали, Гера ничего особо не понял, но запомнил: «органические и патологические шумы... у ребёнка скорее всего органические, но надо наблюдать...» Только в прошлом месяце ему делали электрокардиограмму, проводки к груди и ногам прицепляли. Гера запомнил трудное слово. Ездили в Морозовскую больницу, мама не пошла на работу, а сейчас... что ей снова не ходить... у него просто простуда. У Геры высокая температура, вчера приходил врач и выписал много лекарств, среди которых есть жаропонижающие. Гера должен сам себе мерить температуру и принимать таблетки по часам. Несколько раз в день мама умудряется ему звонить: «Герочка, как ты там? Ты температуру смирил? Какая? А ты покушал? Гера, надо поесть! Ты слышишь меня? Ты не забыл принять

лекарство? Не забыл? Сходи себе чай сделай с лимоном. Тебе надо побольше пить. Ладно, ещё позвоню. Пока, сынок. Не скучай». Да какой «скучай, не скучай»! Какое это имеет сейчас значение? Гере плохо, болит голова, жарко, он сбрасывает с себя одеяло, но потом в следующее мгновение его охватывает озноб, и он натягивает на себя одеяло снова. На стуле около кровати лежат его книги, но читать совсем не хочется. Хочется спать. Гера забывается, но это даже не сон, так забытье, Гера слышит, как за дверью мяукает соседский кот, вот звонок в дверь. Дверь открывает тётя Глаша... О, это Андрей пришёл после школы его проведать, значит уже три часа. Нет, Андрея тётя Глаша к нему не пускает. Правильно, он же, наверное, заразный, да и не хочет он сейчас никого видеть. Плохо. Надо встать и идти на кухню греть чайник, но вставать трудно. Гера встаёт, голова кружится. Путаясь в длинной пижаме, он тащится на кухню. Быстрее бы родители вернулись. Тётя Глаша открывала дверь, спрашивала не нужно ли ему чего. Нет, ничего ему не нужно. А главное, ему не нужно, чтобы она в их комнату заходила. Не нужна ему никакая чужая тётя с её вопросами: «А что ты читаешь? Как ты себя чувствуешь? И где это ты простудился? Я видела, как ты шапку на улице снимал». Он уж как-нибудь сам.

На маму Гера не сердится. Что бы она ему сделала? Гера встаёт, голова кружится. Шаркая ногами, он плетётся на кухню, подогревает чайник, пьёт целый стакан с тремя ложками сахара, принимает лекарство и наконец засыпает. Будят его

пришедшие с работы родители. Наконец-то! По опыту Гера знает, что завтра ему будет гораздо легче, он начнет читать свои книжки. Может даже придётся делать уроки, да ладно. Ерунда. Лишь бы не болела голова. На следующей неделе отличников будут принимать в октябрята. Не дай бог ему пропустить торжественную линейку. Что делать? А вдруг его тогда будут одного принимать и всё внимание будет только на него? Нет, только не это. Надо выздоравливать. Успеть бы к следующей пятнице. Быть октябрёнком или не быть – Геру не волнует, просто он знает, что таковы правила, а значит следует их выполнять без лишних размышлений. Всё что происходит в школе ему вообще не слишком интересно. Интересно читать книги и делать с Андреем авиамодели из реечек и папиросной бумаги. Андрей хочет, чтобы родители купили ему собаку, а вот Гере собака вовсе не нужна. Животные ему совсем безразличны, хватит с него соседского кота, который нагло прыгает на их стол на общей кухне и противно выгибает спину. А вдруг кот грязный? Вдруг у него глисты или блохи? Гера ненавидит грязь и беспорядок. Папа тоже такой, он говорит, что это нормально: они же немцы, а вот русские... тут и продолжать не надо, Гера прекрасно понимает, что папа имеет в виду. В глубине души он с ним согласен.

Гера живёт без особых проблем. Школа его не тяготит, там всё понятно и просто. Во дворе можно подолгу играть в настольный теннис. В шестом классе многие ребята – «бур-

жуи» – записались в только что открытую школу фигурного катания. Раз все записались, то и Гера решил тоже записаться. Всё там было неплохо, они с Андреем были единственными мальчиками, кататься на этих странных фигурных коньках с зубчиками оказалось легко научиться, до и после тренировки они гонялись за девочками, развивая бешеную скорость. Догнать девочку было просто, а вот потом что делать? Схватить в охапку, повалить, просто осалить? Андрей так и делал, обнимал девчонок сзади, крепко сжимал и смеялся, а Гере это было делать как-то неудобно, он и сам не знал, приятно ли ему девочку схватить или нет. И всё-таки на катке было весело проводить время, они прыгать научились, вращаться, выводить на льду замысловатые восьмёрки. Всё бы ничего, если бы не эта их дурацкая девчачья хореография. Надо было держаться руками за поручни станка и делать десятки скучных упражнений. Девочки в белых коротких платьях, а они в чёрных трусах, белых майках и чешках. Не то, чтобы у Геры не получались «плие» или «батманы», просто он считал это потерей времени. Впрочем, никаких особых комплексов насчёт «как это я тут один среди девчонок» у Геры не было, он прекрасно знал, что он – мужчина, и никакие вокруг девочки не смогут на это повлиять. Тем более, что в школе после уроков они с ребятами всегда шли в спортзал и там играли в волейбол, баскетбол, где Гера чувствовал себя одним из лучших. Он вообще заметил, что к восьмому классу его тело очень изменилось. Он стал

выглядеть парнем, а не мальчиком. Чуть выше среднего роста, крепкий, с развитой мускулатурой, прямыми сильными ногами, широкими плечами. Его волейбольная подача была столь сильной, что мало кто мог её взять, мяч выпущенный из его рук, летел, как болид. Вот он стоит чуть за кромкой поля, руки его заведены вверх, тело вытянуто и напряжено: раз... глухой удар по мячу, и Гера прыгает на поле, выходит к сетке, чуть наклоняет корпус, складывает обе руки в замок и ждёт ответного удара, готовый высоко и мощно выпрыгнуть к сетке, поставить блок. Девочки на него смотрят, в зале их всегда толпится несколько человек. Он чувствует их взгляд, хотя никогда не оборачивается, ни с кем не заговаривает, ни перед одной не выпендривается, не хочет ни угодить, ни понравиться, но он знает, что его видят, судят, оценивают, любят. Или не любят? Может ему кажется? Да нет, вряд ли кажется. Он – красивый и статный, а ещё умный, и знает себе цену. Что он не может сравнить себя с другими? Другие – сосунки, сопляки, детки... а он уже не «детка». Да, если бы он захотел, он бы... он Гера не хочет, или вернее хочет, но... что-то ему мешает, пугает, отвращает, сковывает. Ему приятнее просто осознание своего физического, интеллектуального и морального превосходства. Не надо спешить, всё впереди.

Гере 14 лет, родители подарили ему на день рождения бритву. Прекрасную электрическую бритву «Эра», которую папе кто-то достал. Папа вообще обожает технические нов-

шествия. Гера уже в выходные сбрил свой пушок с верхней губы. Это была непростая, но приятная процедура: густая, приятно пахнущая пена, импортный станок, после бритья лосьон. Прекрасные мужские запахи. А тут новомодная «Эра». Мягкое жужжание, Гера водит бритву не только по верхней губе, но и по подбородку, по верхней части щеки. Мохнатый детский пушок исчез, лицо совершенно чистое, но в том-то и дело, что у других просто «чистое» лицо как у девочек, а у него – чисто выбритое, это видно. Гера пошёл в школу, побрившись с утра, и на него все смотрели, ну просто не было в классе человека, кто бы не заметил. По-разному, конечно, смотрели: ребята – с завистью, девочки – с восхищением. Девочки смотрели так пристально, что Гера краснел. Сидел с пылающими щеками, ни на кого не глядя. Неправильно он себя вёл, нечего было так тушеваться: ну подумаешь – побрился самым первым в классе! Но сделать он с собой ничего не мог. Черт, черт, черт! Как глупо! На Геру часто смотрели, а он этого не любил, хотя нет, когда смотрели – это не было однозначно неприятно, что-то в этом было особенное. Гера тогда ощущал себя особенным, да что ощущал... он просто знал, что он и есть особенный.

В том же 8-м классе девчонки затеяли постановку спектакля «Три мушкетёра». Ему досталась роль Арамиса. А что... он спорить не стал. Киношный Арамис ему и самому нравился: тонкий, красивый, смелый, а главное, в отличии от остальных, умный. То, что надо. Как они тогда ходили

по темным школьным коридорам в своих голубых развевающихся плащах с белыми крестами на спине, у пояса болталась шпага, на ногах ботфорты. Гера легко запомнил свои слова, слава богу, его герой не кричал, не бесился, даже шпагой махать не пришлось. Арамис цедил красивые цветистые фразы, он разоблачал Миледи, проявляя уместную вескую безжалостность. И опять на него смотрели, это было приятно. Во время бритья на Геру глядело в зеркале своё собственное лицо: уже затвердевшее, малоподвижное, недетское, с прямым носом, красивой формы губами, тяжёлым подбородком. А главное – глаза, их цвет и взгляд, сосредоточенный и чуть ироничный. Гера мало говорил, почти не смеялся, даже улыбался редко, и именно взглядом он научился передавать мельчайшие оттенки своих мыслей, отношения к происходящему. Взгляд, обращённый на другого был то жестким, то понимающим, то смешливым, то пренебрежительным. Тот, кто решался смотреть Гере в глаза, мог там прочесть всё, о чём Гера молчал. И всё-таки у тех, кто хорошо его знал, всегда было ощущение, что хоть Геру и можно прочесть, но там, где-то глубоко, есть что-то ещё, спрятанное от посторонних, затаённое, слишком личное, чтобы выставлять напоказ. В Гере предполагалось двойное дно, которого в других ребятах не было. Ум, осознание превосходства, впрочем, тщательно скрываемое, но всё-таки явное.

А с Андреем Гера разошёлся. Вроде пустяк: Андрей что-то такое неуважительное сказал про отца, вроде «не такой уж

он хороший инженер». Можно было бы и мимо ушей пропустить, но вопрос принципиальный, и Гера не пропустил. Он вдруг понял, что с Андреем его уже больше ничего не связывает, кроме подъезда и детства. Общество друга стало неинтересным. Какое-то время они не разговаривали, потом острота ссоры прошла, и Гера с Андреем общались, просто как члены одной компании, друзьями они быть перестали, оставшись просто одноклассниками.

У Геры появился новый близкий друг. Он был из «рабочих»: где-то отсутствующий папа, замотанная мама, медсестра, добрая и усталая толстая женщина. Парня звали Толя. Он был плотным, коренастым и сильным юношей, по-деревенски обстоятельным и невозмутимо-грубоватым. Весь класс часто ходил в походы, Толя нёс тяжеленный рюкзак и прекрасно смотрелся в грубых кирзовых сапогах, потёртой ветровке, застиранной ковбойке, с топором в руках. Он умел споро поставить палатку и развести костёр, а вечерами пел с хрипотцой, но музыкально душеспасительные романсы, аккомпанируя себе на гитаре, не выпуская изо рта дешёвую сигарету. Толя был «из народа», свойский, чем-то обаятельный, дерзкий, рано повзрослевший, самостоятельный, уверенный в себе. У Толи, правда, имелся маленький еле заметный комплекс: он завидовал «буржуйам», их ухоженности, защищённости, хорошим семьям, способностям. Их чистым квартирам и комнатам, их поездкам и вещам. Потянулся он к Гере отнюдь не случайно. Они сели за одну парту

и незримая, уверенная, грубая, наглая и временами злая Толина аура, когда он себе всё разрешал, распространилась и на Геру. Никто и ни при каких обстоятельствах не мог теперь Геру не то что обидеть, а даже просто косо на него посмотреть. Толя бы такого обидчика порвал. Глубоко внутри, несмотря на кажущееся добродушие, он не был добрым парнем. А Гера прилежно решал Толе все контрольные, следил за тем, чтобы друг держался на плаву. Но нет, эти отношения не сводились просто к взаимной выгоде, ребята дружили. Гере стал близок Толин грубоватый юмор, забористые выражения, способность никогда не давать себя в обиду, весёлое наплеватьство на авторитеты, бесшабашность, смелость, повседневная готовность драться и побеждать. Кто из них был в этой паре главным? Трудно сказать, они друг друга ценили и, может быть, даже любили, испытывая взаимное восхищение, которое цементировало дружбу этих разных людей, которым были уготованы непохожие судьбы.

В конце 8-го класса Гера стал раскованнее, принимал участие в злых шутках над учителями. Когда надо было подойти к учительнице с «подходцем», чтобы её на что-нибудь выгодное для общества уговорить, ребята всегда выбирали Геру. Он был самым лучшим учеником, намного опережающим других отличников, а потом средних лет, замотанные жизнью училки, не умели противиться его скромному, но бесспорному шарму. Гера был неотразим и сознавал это.

Что тут спорить, Гера знал себе цену! И всё-таки по ка-

ким-то едва осознаваемым им причинам, ему было по-прежнему трудно общаться с людьми, особенно со взрослыми. Поздороваться с чьей-то бабушкой было сущим мучением, дурацкой условностью, которой он был обязан следовать. Даже с возрастом в нём не появилась светскость, раскованность и манеры. Гера не умел непринужденно болтать, однако и умных разговоров он избегал, то ли не любил ни перед кем выворачиваться, говорить, что он действительно думает, то ли стеснялся людей, даже одноклассников, то ли априори считал их дураками. Такого тоже нельзя было исключать. Хотя, кто его знает, может в Гере вовсе и не было той глубины, которая в нём почему-то угадывалась и подразумевалась. Вдруг он был просто красивым и румяным пирожком без начинки? Может быть, но никто в это не верил. Гера был Гера, их общая гордость: Герман Ключе.

А между тем все ребята-«буржуи» из класса перешли в престижную школу. Гера тоже туда перешёл, хотя не он был инициатором этого общего движения. Вообще-то ему было всё равно какую школу кончать. Гера знал, что в институт он поступит, и армия ему не грозит. Какая может быть армия для него, баловня судьбы.

Гера всегда был членом сплочённой компании, он ничего для этого не делал, так исторически получилось само, и Гера был этому рад. Милые воспитанные девочки, ребята-товарищи, умеренная, систематическая, никем не запрещённая выпивка, медленные танцы в полумраке. Гера открыл девочек.

Просто не мог не открыть: гибкие, тёплые, податливые тела, мягкая небольшая грудь, сладковатый запах духов и пудры, доверчивые ладони в его руке. Он был в контроле: мог подвинуться или отодвинуться, прижаться или отдалиться по-дальше от её тела. Мог почувствовать на своей шее её щеку, положить ей руку не на талию, а чуть ниже, прижаться губами к её волосам или провести рукой по её груди. Это всё было приятно, Гера не пропускал ни один танец. Вот он чуть покачивается под музыку, пьяноватый, с кружащейся головой, девочки у него разные, но принципиальной разности в своих ощущениях он не чувствует. Он их всех хочет, но усилием воли никогда не даёт ей это физически ощутить. Его эрекцию он ей замечать не позволяет. Ещё чего! Гера прекрасно знает, что пара ребят в этих обстоятельствах, не встречая никакого сопротивления, дают волю рукам, мнут грудь, выходят с ней в коридор целоваться, расстегивают ей кофточку, прижимаются, чтобы упереться членом ей в живот. Он тоже мог бы, но... нет, что-то его сдерживает, Гера и сам до конца не понимает что. Больше всего на свете он боится потерять голову, а значит контроль, оказаться идиотом, и поэтому попасть в неудобную, невыгодную для себя ситуацию, которая осложнит его жизнь, сделает его слабым.

Толя в связи с переходом в другую школу совершенно перестал быть важным, он, кстати, и в компанию никогда не был вхож. Гера мог бы настоять, чтобы Толю ребята тоже приглашали, но не настоял, что-то его удержало. Хулигани-

стый бесшабашный Толя был бы в интеллигентной компании чужаком, а в Гере всегда было остро развито чувство стиля.

В новой школе Гера нашёл Толе замену. Новым одноклассникам он, кстати, представлялся Германом. Через пару недель после начала учебного года он сел за одну парту с известным спортсменом, мастером спорта, членом юношеской сборной Союза по гребле. Высокий парень с живым умом, юмором, неизбывной уверенностью в себе, привыкший к изнурительным тренировкам, травмам, напряжению, но зато и к победам, и уже привычным успехам у девушек: широкие плечи, сильные ноги, рельефные бицепсы, живые чёрные глаза и твёрдые волевые губы. На учёбу у него времени не хватало, и Гера снова взвалил на себя заботу об отметках товарища. Они стали не разлей вода: один – яркий, весёлый и сильный спортсмен, другой – умный, тонкий и красивый «гений» местного разлива. Профессиональный спортсмен с вечными солёными шуточками и интеллектуал с сосредоточенным взглядом философа и длинными тонкими пальцами, выдающими породу. Если бы кто-нибудь внимательный зашёл в класс, то сразу бы увидел эту пару и сказал себе: «Ага, вот он центр...» Ребята проводили вместе довольно много времени: Гера ездил на важные регаты на Московское море, стал вхож в разные компании, кроме своей. Они вместе пили пиво, и друг уговаривал Геру не теряться с девушками. Мудрость его была несложной: «Ничего не бойся, дают – бе-

ри! Ничего не будет. Я тебе обещаю», – вот что Гере говорил друг, и он ему поверил. Общение с женщинами потрясло его сверх меры. Это было неплохой разрядкой, немного будоражило, льстило самолюбию, но всегда оставляло Геру эмоционально глухим. Ни в одну из своих подруг, которых набралось уже 3–4, он не был влюблен. Девушки казались ему неумными и быстро надоедали. Обижать он их не хотел и старался всё так подстроить, что она сама переставала ему звонить. Она и переставала. Девушка была, однако, удовольствием лучше, чем выпивка, после которой болела голова, и уж, конечно, лучше, чем курение, в которое он, едва втянувшись, быстро бросил. Ни к чему. В те времена курили практически все, но Гера вовсе и не собирался быть как все. Все – это все, а он – это он. Как трудно ему всегда было смешиваться с толпой, он и не смешивался, храня свое странное обособленное одиночество, незаметное окружающим, но всегда им самим осознаваемое и лелеемое. Люди были разными, умными и не очень, милыми и злыми, но никто не мог его понять до конца: ни родители, ни друзья, ни женщины. Никто. Теперь взгляд его ярких-синих жестких глаз всё чаще и чаще был устремлён в глубь самого себя. Гера всё запоминал, оценивал, анализировал и делал выводы. Только бы не наделать ошибок, не попасть в просак, не потерять контроль. Надо быть осторожным, иначе... что «иначе» Гере и думать не хотелось.

В институт Гера поступил по тем временам модный: Мос-

ковский институт управления и информатики. Новая отрасль, имеющая дело с компьютерами. Опять всё было легко, Гера учился играючи. На факультете ему было даже проще, чем в школе. Уже не надо было писать дурацкие сочинения про Татьяну Ларину, которая «идеал Пушкина... и русская душа». Впрочем, Гера получал за школьные сочинения только пятёрки. Быть грамотным, как машина, не составляло для него труда, язык же был системой, а вот «что писать», чтобы угодить учителю, быть в струе, не выйти за рамки требований, не дай бог не сказать лишнего, не допустить в сочинение ни грана своей собственной мысли – это было труднее, но Гера справлялся. «Чацкий, Онегин, Печорин – лишние люди?» – конечно, лишние. Кто в этом сомневается? А «Раскольников и Базаров – новые люди?» – ой, да не проблема: новые – так новые. Ценил ли Гера русскую классику? Да, в общем-то ценил, но читал только то, что проходили на уроке. Был ли он всегда согласен с оценками учителя, с тем, что надо было «полагать»? Нет, не был, но не считал нужным выворачиваться перед учителем и ребятами. То, что он сам полагал – было его личным делом, его внутренним миром, который Гера от посторонних ревниво оберегал. Кто-то в классе спорил, эпатировал окружающих, Гера смотрел на таких глупых сопляков свысока, вот дураки, игра же не стоила свеч! Перед кем тут бисер метать? Зачем? Это было непростительной ребячливостью, ерундой, на которую Гера не разменивался.

В институте, продолжая ту же тактику, он смиренно сидел на семинарах по истории КПСС, на полном серьёзе конспектировал работы Ленина и проводил политинформации про израильских агрессоров. Таковы были правила игры. Сменялись правила – сменился бы и Гера, но правила ещё очень долго не менялись. Геру, впрочем, это вовсе не раздражало. Он стал взрослым матёрым мужиком, политика и прочие эмоциональные игры его уже не столь пугали, сколь просто не интересовали.

А что Германа по-настоящему интересовало? Были ли у него страсти? Да нет, ничего его не интересовало, страстей он избегал, в точности следуя философии классического XVII века: рацию – превыше всего, эмоциональные всплески унижают и делают мужчину глупцом. Философию классицизма Гера почитал по наитию, обширными гуманитарными знаниями он не обладал, был всё-таки технарём.

На последних курсах института Гера ещё не потерял связи со старыми школьными приятелями, изредка встречался с другом-спортсменом, уже давно соревновавшимся на международном уровне, обладателем многих медалей и кубков. А вот и вечер-встреча. Всем уже лет по двадцать пять, может, чуть меньше. Несколько человек уже замужем и женаты. Ой, вот странные люди, зачем это всё? Ведь можно быть ещё много лет свободными и получать от жизни по максимуму, но... ему-то что.

Там были их девчонки из компании. Выпили все многова-

то. Гера вышел на кухню и с отвращением увидел заблёванную раковину. Сток засорился, и обильная красновато-жёлтая жижа с неперевавленными кусками пищи стояла толстым слоем, источая мерзкий утробный запах. «Чёрт, ну кто же это так напился?» – зло подумал Гера. С ним такого никогда не происходило. Вроде они не маленькие и должны знать свою дозу, а тут... какая гадость. Ему захотелось немедленно уйти. Он вышел в коридор и увидел друга, который тоже собирался уходить.

– Геш, давай двигать отсюда. Поедем ко мне, а? Ты в сортир не ходи, там нассано. С меня хватит.

– Ну поехали... спасибо, что сказал, я как раз собирался...

Он увидел, что две девчонки тоже надевают сапоги. Куда это они? С ними что ли? Зачем? Друг проследил за его взглядом и посчитал нужным объяснить: «Да, Геш, они с нами. Ты не против?»

Гера и сам не знал, против он или нет. Если нет девок, то что ехать ночью на эту квартиру, хотя с другой стороны, он думал просто спокойно посидеть, выпить крепкого кофе, поговорить. А тут... эти будут. Надо с ними что-то делать. И даже если не делать, то придётся развлекать. Вот этого ему совсем не хотелось. Он не то, чтобы не знал, о чём говорить с девушками, знал, но ему всегда было лень это делать. А тут ещё эти девчонки ему свои. Не надо бы с ними связываться. Тем более, что обе замужем. Они ему говорили, кто их

мужья, но он не слушал. Только этого не хватало в голову брать! Значит, их мужа ждут, а они на ночь глядя в гости собираются. Эх, бабы. Было видно, что и та и другая нетрезвы, бледные, с синяками под глазами, какие-то потрёпанные. Не сказать, чтобы они его привлекали. Им бы сейчас в самый раз домой. На улице они поймали такси, девчонки решительно залезли назад, друг сел между ними, а Гера рядом с шофером. Повлиять на ситуацию он уже не мог, даже не ехать не мог, было бы трудно объяснить, почему он не хочет. Да, он не хотел, но сказать об этом прямо тоже не хотел. Вот всегда так с ним. Обычно он не давал собой манипулировать, но друг захватил это право, так уж вышло.

Ага, ну так он и знал. Всё развивалось по самому неблагоприятному сценарию. Друг выбрал одну подругу и опрокинул её на свою двуспальную кровать, рывком прикрыв дверь, другая осталась в Герином распоряжении. Они сидели на тахте, и Гера прекрасно знал, что отступать ему некуда. Девчонка была молодая, симпатичная, тёплая и очень податливая. Ну да, податливая потому что пьяная, но какая разница. Гера её вроде даже захотел, руки его стали тискать её грудь, рядом валялась её модная косынка с видом Эйфелевой башни. Сам сильно навеселе, Гера почувствовал, что руки его живут отдельно, делают своё дело, не обращая внимания на разум. Сколько прошло времени, он и не заметил: то ли две минуты, то ли двадцать. Они уже лежали голые, прикрывшись пледом. Гера навалился на подружку, но последней его

предательской мыслью перед тем, как он в неё вошёл, было: «А не она ли блевала на кухне?» Гера был болезненно брезглив, и такая мысль его немного охладила, но недостаточно, чтобы остановиться. Он потом вспоминал, что сам её не целовал и избегал её поцелуев. Ещё только не хватало, чтобы она на него рвотой дыхнула. Потом было лень вставать, идти в душ, невероятно хотелось спать. Он на минуту закрыл глаза и сразу заснул. Когда проснулся, в квартире уже пахло кофе. Друг стоял в чёрном махровом халате у плиты, девчонки нигде не было видно. Они, наверное, давно ушли. Герман отчётливо понял, что всё вышло довольно по-свински и как-то не в его стиле, но изменить он уже ничего не мог.

– Геш, ну ты как? Повеселился? Мы с тобой хорошо время провели. Согласен?

– Нет, не согласен. Скотство какое-то. Это же наши девчонки. Их мужья ждали.

– Что? Ты себя слышишь? Плевать я на их мужей хотел. Я их даже не видел никогда. Мы же их не силком сюда тащили.

– Да, ты прав, наплевать. Но мы же люди, а получилось по-скотски. Ночью здесь у тебя автобус до метро не ходит. Как они добрались до цивилизации?

– Тебя это волнует? Меня нет. Такси, наверное, взяли. Не маленькие. А насчет «наши» девчонки, это глупость. Девчонки есть девчонки. Они общие. Сегодня были наши. Я, честно говоря, вообще всё плохо помню. Перебрал вчера.

Герман не стал спорить, он вообще не любил конфронта-

цию. Друг его в таких случаях раздражал, и он невероятно остро чувствовал явный между ними водораздел: друг был аморален, признавая право сильного, а остальное считал дурью, недостойной мужчины. Герман ненавидел себя за то, что поддался этому удачливому, весёлому и примитивному самцу, неспособного понять его собственную тонкость. Он же знал, что так будет, зачем поехал? Тряпка! Он выпил две чашки сладкого обжигающего кофе и поехал домой, твердо зная, что теперь очень долго друга не увидит. Вечером он набрал номер своей подруги, с которой был ночью. Она разговаривала любезно отрешённо, как бы незаинтересованно. Он хотел сказать ей какие-то успокаивающие слова, заглаживающие его вину. Да, он чувствовал себя виноватым, как будто его в грязи вываляли: как он был ночью небрежен, груб, безразличен. Презерватив он не надел, но в последнюю минуту успел из неё выйти. Они же сами их там напоили. Бедные девки. Как стыдно. Может она и неосторожна, может он ей нравился, да, точно нравился, он всегда это знал, чуял, но он себе такого и в школе не позволял, а сейчас позволил. Зачем? А затем, что он свинья. Какой-то ужас ужасный. Как было бы отлично никогда больше с подругами не встречаться, но Гера знал, что вряд ли это возможно.

Ну вот так он и знал. На следующий год летом он встретил её на гаражной площадке, куда пришёл в воскресенье возиться с машиной. На гаражной площадке рядом с отцом, откуда через сквер был виден их старый двор, Герман нико-

гда не чувствовал себя в безопасности. То чья-нибудь мама подойдет, то с отцом заговаривали сотрудники, которые там все и жили, и тогда приходилось улыбаться и здороваться. Как он этого не любил! Если бы всё сводилось к простому тихому «здрасьте», так нет... Ему начинали задавать вопросы, причём конкретные, нет, чтоб просто спросить, как дела, можно было бы выдавить из себя «нормально», и всё, но так почти никогда не получалось. «Здравствуй, Герман, ты пока не женился? А девушка у тебя есть? А где ты работаешь? Не защитился?» Ну что им всем было от него надо? Неужели им было на самом деле интересна его жизнь? В это Герман поверить не мог, ему самому никто интересен не был. Их гараж был рядом и та девушка, «с которой он...», подошла к своему отцу, сделать вид, что он её не видит, было совершенно невозможно. Вдобавок ко всему она была с коляской, где лежал её ребёнок. Ему пришлось подойти, спросить, как она поживает, кто у неё родился? Он боялся, что она сейчас примется ему показывать своего младенца, но страхи оказались напрасными, ребёнка она ему не показала. И то, слава богу. «Пойдем посидим на лавочке», – предложила она. Отказаться было бы верхом невежливости. Пришлось идти. Говорить было совсем не о чем. Подруга рассказала о тех, кого она видела и про кого знает: та замуж вышла, а та – родила, тот – защитился... Герман улыбался и доброжелательно кивал. «А ты как? Всё по-старому?» – «Да, всё по-старому». Ребёнок закричал в коляске, и она ушла.

Герман привычно проанализировал их разговор. Он ей ничего про себя не рассказал, потому что не хотел или потому что нечего было рассказывать? Скорее второе: не женился, не родил, не защитился... что там ещё? Герману всегда казалось, что у него в душе есть что-то глубокое, непонятное окружающим, что-то слишком личное, чтобы этим делиться, но что это было? Он иногда и сам не знал. Что его действительно интересовало, волновало, тревожило, будоражило? Женщина, профессия, философская проблема, книга?.. Неужели в целом свете не было никого, с кем ему было бы хорошо? Получалось, что так. Он знал, что в чем-то важном – особый, но это важное ускользало от него самого. Да, он отличался от других, но из-за этого был одинок. Иногда Герману приходило в голову, что было бы здорово быть попроще, и тогда он больше бы принимал людей, но попроще он не становился, и гнал от себя мысль о моральном слиянии с другими. Изредка ему хотелось поделиться чем-то с людьми, которых он знал, но он заранее сдавался, чётко зная, что его всё равно не поймут. Слушать других ему всегда было нестерпимо. А ведь обычные люди рассказывали друг другу про своё личное, а он не мог.

При этом Герман изо всех сил делал вид, что он обычный. Институт он закончил без особых трудов и без интереса, хотя видел, что другим учиться трудно. Видел, но не понимал, ему-то трудно никогда не было, просто иногда приходилось чуть больше почитать учебники, или сосредотачиваясь, чуть

дольше поглядеть в пространство, где возникал единственно правильный ответ. Красный диплом сделал своё дело и Герман поступил работать в космическую область, быстро стал групповым инженером на очень хорошем счету, с немаленькой зарплатой, но потом карьерные подвижки прекратились. Начальство как будто чувствовало, что Герман Ключе не так уж и хочет пробиваться, полностью выкладываться, «гореть» на работе, отвечать за других. Он был слишком холодным, своё равнодушие к важным, с точки зрения коллег, вещам скрыть не получалось, и по службе продвигались другие: более хваткие, суетливые, расчётливые, умеющие ладить, менее, разумеется, талантливые. Германа поначалу такое положение вещей удивляло, но он быстро понял, что чисто научного потенциала для карьеры было недостаточно, нужны были совершенно другие стати, которых у него не было. Нет, ему не было обидно, он не считал, что с ним поступают несправедливо, вовсе нет. В глубине души Герману было всё равно. Работа была интересна, но не настолько, чтобы он захотел суетиться с диссертацией, которая принесла бы только скромную прибавку к зарплате. Честолюбия Герман был лишен, слишком уж это было пошлым качеством, топтаться в очереди за званием ему показалось глупым.

У него был круг знакомых: байдарки, горные лыжи, баня по пятницам, дачи с шашлыками и выпивками, время от времени женщины, хотя ни в одну из них он не был влюблён.

Влюбиться, как другие, у него категорически не получалось. Герман уже жил отдельно от родителей и ни перед кем не имел никаких обязательств, считал себя свободным и в общем-то счастливым, хотя... «на свете счастья нет, а есть покой и воля». Здесь с Пушкиным, которого Герман знал только по школьной программе, он был согласен.

Малыши из колясок у одноклассниц выросли и пошли в школу, у общих знакомых давно были семьи, Герману исполнилось 39 лет и жизнь его в одночасье переменялась. Както на даче у знакомых, на дне рождения с шашлыками и вином, он познакомился с девушкой, которую кто-то привёз. Девушка была красивая, молодая, но простенькая, как Герман когда-то цинично думал, «одноразовая», и то, если было не лень... Они вдвоём выпили, погуляли по лесочку, посидели на бревнах за калиткой. Девушка щебетала, что-то дурацкое ему рассказывала, Герман улыбался и перемежал своё молчание ничего не значащими репликами. Хоть и девушка приехала на дачу не одна, её странным образом никто не хватился, и Германа это устраивало. При малейшем замеченном чьем-нибудь неудовольствии он бы немедленно отступился. Толкаться он не считал возможным ни по какому поводу. Вечером они вместе уехали в Москву и обменялись телефонами. Герман наводил о Наташе справки, хотя узнать о ней удалось немного: самое главное, что стало известно – это то, что Наташа – косметичка, работает в салоне на Новослободской, вот, пожалуй, и всё. Младше Германа на 12

лет. Про косметичек Герман в своём мужском технарском кругу ничего не знал. Косметичка – это что-то вроде парикмахерши, не очень высоко, но какая разница. Традиционного романа между ними, ни бурно текущего со страстями, ни блеклого с долгими походами в кино и театры, не было. Наташа привлекла его молодостью, миловидным правильным лицом, ладным телом и какой-то удивительной непритязательностью. Новая подруга Германа не напрягала: не лезла к нему в душу, не интересничала, не старалась произвести впечатление. Герману показалось, что они чем-то похожи – несуетливостью, устремлённостью в себя. Жениться на этой девушке Герман решил сразу, «хватит ждать, она может ничем не лучше других, но почему бы и не она... надо всё-таки что-то в жизни изменить». Наташа была представлена родителям, которым она не понравилась, особенно матери: «Герка, ты что? С ума сошёл? Она же простая косметичка...» – вот к чему сводились мамины претензии. Так он и знал. Только он уже давно привык делать то, чего ему самому хотелось, поэтому была сыграна скромная свадьба в ресторане «Загородный». Через год Наташа родила сына. Мальчишка родился крупный, ладный, похожий на Германа: правильные черты лица, ярко-синие глаза, прямой нос, волнистые каштановые волосы. Отец Германа души не чаял во внуке и любил повторять, не стесняясь Наташи, что ребёнок ариец, будет продолжателем славных немецких традиций их семьи: ум, воля, аккуратность, усердие, честность, честь... Па-

па никогда не хотел замечать, что слово «ариец», ассоциируясь с нацистской пропагандой, окружающих раздражает. Он наоборот считал, что нацизм – это, конечно, мерзкий и стыдный зигзаг, не делающий немцам чести, но в целом опорочить немецкую нацию невозможно, и что немцы – один из самых достойных народов планеты, у них есть дух. Распространялся отец на эту тему редко, но Герман знал папины взгляды и не спорил, будучи и сам в глубине души уверен, что он тоже немец, русский немец, но немец не такой как остальные, и сын его будет немец, уже немец, и поэтому так страдает, когда на нём грязная одежда.

До рождения ребёнка Герман был уверен, что маленькие дети – это прежде всего тяготы, но сейчас он находил удовольствие в играх с сыном, покупал ему новейшие модели конструктора, читал книги перед сном. В пять, как когда-то и он сам, мальчик научился бегло читать. Летом они снимали дачу, Герман учил сына плавать. Мальчик был ещё маленький, когда один за другим умерли родители. На похоронах матери, уже после смерти отца, Герман вдруг подумал, что очень перед ними виноват: как короток был их срок в роли бабушки и дедушки. Внук был центром их мироздания, их ценностью, неизбывной любовью, гордостью, источником надежд и радостей, но как же мало им было суждено этому порадоваться. Почему же он раньше не имел детей? Эгоист. Он теперь и сам не понимал, почему не имел всего этого раньше: жену, ребёнка, обычной человеческой жизни,

вовсе не скучной, не пошлой, не отталкивающей. Как много он потерял времени, чего ждал, чтобы попробовать быть счастливым? Чем жил, зачем? Как глупо.

Теперь ему было ничего не нужно, он спешил домой, жена подавала ужин, разговаривал Герман по-прежнему мало, но ему было с Наташей хорошо, спокойно, надёжно. Они строили планы, обсуждали новости, передачи, отпуск, а когда сын пошёл в школу, то его учебу. В классе мальчик был первым, учительница не могла на него нарадоваться. Наташа очень гордилась, а Герман не удивлялся. Новости об успехах сына каждый раз наводили его на мысли о невозвратности родителей, особенно отца, который находил бы в маленьком отличнике подтверждение немецкой исключительности их семьи. Он не дожил, и в этом была вина Германа. Всё боялся, дурак, ошибиться, лажануться, попасть впросак, усложнить свою жизнь. Он жил и не жил... оберегал свой покой. Зря, эх, зря! Но теперь всё будет по-другому. Он ещё не старый, всего 51 год. Для мужика – пустяк. У его знакомых дети взрослые, а его сыну всего 10... ну и что ж? Ничего. Могло бы и вовсе не быть. Пусть на последний корабль, но он успел, а вот родители... тут уж ничего не изменишь.

Обычно Герман ездил на работу на машине. Одним из первых он купил Жигули и с тех пор каждые два года покупал новую модель, выгодно продав старую и доложив немного денег.

В этот день, была пятница, начало лета, Наташа решила

ехать на дачу, там её ждал десятилетний сын, с недавних пор они его оставляли одного. Наташа планировала купить продукты и ехать к вечеру, заехав за Германом на работу. Он оставил ей машину, а сам поехал на метро. В вагоне было довольно много народу, и хотя час пик уже миновал, сесть было негде. Герман стоял лицом к окну, держался за поручень и читал газету, которую достал утром из почтового ящика. Перед его лицом мелькали станции. Скоро Площадь Свердлова, его пересадка. На перегоне от Маяковской Герман почувствовал себя плохо: внезапная слабость, холодный пот, острая боль в груди, отдающая в спину и левую руку. Свет внезапно стал меняться, переходить от мутно-белого к серому, потом всё почернело, Герман из последних сил продолжал держаться, потом стал оседать на пол, неловко опустился на корточки и стал заваливаться на спину. Люди заметили, женщина рядом громко повторяла: «Мужчине плохо, мужчине плохо...», кто-то встал и Германа усадили на лавку, тут поезд подъехал к платформе. Дежурная позвала милиционера, из подсобки в конце платформы быстро принесли брезентовые носилки и мужчины из его же вагона потащили Германа в боковое служебное помещение, уложили на кушетку и туда сразу же подошла, неизвестно откуда взявшаяся, фельдшерница. Боль не проходила, была нестерпимо острой, разрывающей грудь, Герман стонал и не открывал глаза. «Когда это кончится? Я не могу больше терпеть. Сделайте что-нибудь... скорее». Ему казалось, что он это говорит, но небольшая

толпа вокруг него ничего не слышала, только его негромкий болезненный стон. Тех мужчин из вагона, которые помогали тащить носилки, в комнату не пустили, вокруг Германа стояли три человека, дежурный милиционер, фельдшерица и уборщица. Они видели грузного немолодого мужчину, с бледным одутловатым лицом. Глаза мужчины были закрыты, на его лбу блестели капли пота, хотя в комнате было скорее прохладно. Он стонал и перебирал ногами. Красивым им Герман не показался. Вызванная скорая довольно долго не приезжала, потом в милицейскую рацию сказали, что машина припарковалась у выхода из перехода, сейчас придет бригада и можно будет выносить. Через пару минут вошёл врач и деловито склонился над Германом. Санитар стоял рядом, ни в чём не принимая участия. Рядом на столе лежал раскрытый паспорт Германа, на который доктор бегло взглянул: «Герман Николаевич, вы меня слышите? Вы можете говорить? Герман Николаевич...» Герман слышал голос врача, но ответить не мог, боль делалась невыносимой, она заполняла всё тело, дышать становилось всё труднее, в глазах темнело, к горлу подступила тошнота. «Я ведь умираю, – подумал он, – как же так? За мной вечером Наташа заедет и я... Как больно, я не могу этого больше выносить... что-то у меня там рвется... и я не хочу умирать, я не готов... пусть они что-нибудь сделают... доктор...» – из последних сил еле слышно прошептал Герман. Доктор начал прилаживать на тело Германа провода портативного электрокардиографа, не прошло

и минуты, как на мониторе появилась беспорядочная кривая линия: зубец R резко снизил свою амплитуду, потом исчез совсем... на остальные зубцы доктор посмотреть не успел. Герман открыл глаза и резко дёрнулся, на мониторе пошла прямая линия. Доктор ввел внутривенно большую дозу мезатона и несколько раз сильными рывками нажал Герману на грудную клетку... ничего, прямая линия. Да он и знал, что ничего не поможет. Остановившиеся синие глаза больного смотрели вверх и куда-то вбок, доктор профессиональным жестом закрыл их, он всегда так делал. Сегодня это случилось уже во второй раз. Милиционер молчал, но тут подал голос:

– Он что, умер?

– Ну да.

– Ну, что ж... забирайте, везите его в морг.

– Ага, сейчас... никуда мы его не повезем. Мне работать надо.

– А я что с ним буду делать?

– Как что делать? Вот тебе справка, вызывай перевозку. Куда теперь спешить? Оформи протокол происшествия. Что у тебя учу... ты, что новенький?

– Я тут уже больше года, но у нас никто не умирал. Они сразу приедут?

– Да нет... ночью, когда все вестибюли закроют. Как они носилки поднимут на эскалаторе среди бела дня? Не через туннели же их нести до люка. Так не делают.

– Ну как, он что здесь будет лежать?

– Полежит, что тут такого?

– Мне что надо его семье звонить?

– Да не надо. Это не твоя проблема. Сообщи начальству.

Они по базе телефон пробьют и позвонят. Это делается официально. Ладно, ребята, пока...

Доктор подхватил свой чемодан, санитар – чемодан электрокардиографа и они побежали к эскалатору. Про Германа врач уже почти не думал. Он работал на скорой пять лет и давно привык к таким вещам. А что, мужик ехал куда-то по своим делам и вот так, сразу... без хлопот, не болел... не старый ещё, но... может так и лучше. Себя винить доктору было не за что. Санитару вообще было на всё наплевать. Очень уж он вчера с ребятами перебрал. В машине бригада, воспользовавшись, что не надо было под сиреной ехать в больницу, решила перекусить. Все спокойно съели по большому бутерброду и выпили кофе. Им предстояла длинная смена. Доктор вдруг вспомнил, что больного звали Герман Клюге, «умный» по-немецки. Какое это теперь имело значение?

Чуги – кровавый гэбист

Саша стоит на широком подоконнике перед двойной массивной оконной рамой. Зима, между рамами снег. Стекло снизу немного припорошено снегом, в комнате темновато, пол-окна срезает крыша гаража, но свет пока не зажигали. Саша смотрит туда, куда ему показывает бабушка. Саша маленький, в тёплых байковых шароварах и рубаше, на которую надета вязаная жилетка в полоску. Бабушка придерживает его сзади за спину и показывая пальцем на маленькую церковку наискосок от их дома, что-то ему про неё рассказывает. Саша слушает плохо, почти ничего не запоминает. Бабушка говорит, что это церковь, а для него дом как дом, но посмотреть всё равно интересно, хотя этот дом для него привычен: приземистое здание, вытянутое в длину и выкрашенное жёлтой краской. Бабушка говорит, что у жёлтого здания был второй этаж, а сейчас остался один «подклет». Саша не знает этого слова, но так бабушка говорит, голос её тихий, напевный, она как сказку рассказывает... видишь, Сашенька... над подклетом там раньше были купола: четыре маленьких ярко-голубых и один посередине – золотой и на всех кресты. Приятно слушать бабушкин голос, но представить себе церковку у Саши не получается. Нет там сейчас никаких крестов, и куполов нет. Там люди работают. Саша много раз видел, как они идут на работу.

– Смотри, Сашенька, видишь во дворе могилки. Там семья Суворова похоронена, и сам Суворов. Он в этой церкви старостой был. Вот какое тут место. У нас как бульвар называется, знаешь?

– Знаю. Суворовский бульвар.

– Ну вот, молодец. А Суворова знаешь?

– Знаю.

– Ну, ну. Какой ты у меня умный мальчик. Ну слушай. Рядом с храмом была колокольня, по воскресеньям в колокола звонили.

– Как это?

– А так, мы недалеко жили, слушали, такой громкий звон, далеко-далеко было слышно. Я молодая была.

– А потом? Куда они делись? Колокола?

– Взорвали, Сашенька, в 37 году. Тогда же и купола сняли.

– Зачем?

– Ну, зачем-зачем? Так уж. Храм не нужен народу стал. Но там, Сашенька, всё равно бог живет.

– А где бог?

Бабушка не успевает ответить, в комнату заходит мама, и бабушка сразу замолкает. Саша знает, что родители не любят разговоров про бога. Саша не настаивает, но про бабушкиного бога ему интересно, и он решает поговорить про храм потом без мамы. В 80-х храм Феодора Студита у Никитских Ворот был полностью восстановлен со всеми своими куполами и колоколами, но бабушка до этого не дожила. Да и Са-

ша давно на Суворовском бульваре уже не жил, просто проходил иногда мимо их старого дома, всегда оглядываясь на их с бабушкой церковку, где «жил бог». Теперь Саша в это странным образом поверил. Сзади церкви всё ещё стоял их старинный двухэтажный дом, в котором Саша прожил до десяти лет, и хорошо помнил их захламлённую тёмную коммуналку на втором этаже. Четыре соседские семьи он тоже прекрасно помнил: молодая студентка консерватории, скрипачка Алла, её мама Эсфирь Борисовна, которую все почему-то называли «курочка». Тётки они были милые и добрые, еврейки, и об этом никто из соседей никогда не забывал. Впрочем, Сашина семья с Аллой даже дружила, и она принялась учить Сашеньку играть на скрипке. Проверяла его слух, хвалила родителям способности и настояла на занятиях, за которые не брала денег. Папа купил детскую скрипочку «восьмёрку» в большом Военторге, и Саша начал «пилить». Нет, ему скрипка совершенно не нравилась, но родителей он слушался, поэтому деваться ему было некуда. Тем более, что они всегда занимались у Аллы в комнате, там стояло старое чёрное пианино, на котором Саше хотелось научиться играть гораздо больше, чем на скрипке, но Алла говорила, что это потом. Эсфирь Борисовна, которую он ни за что на свете никогда не назвал бы в глаза «курочкой», угощала его каким-то печеньем, которого у них в семье никогда не водилось, и накладывала в розетку варенья. Кстати, впоследствии, когда Саша не мог не замечать обыденного государ-

ственного и бытового антисемитизма, он всегда, вспоминая Аллу и Эсфирь Борисовну, себя от антисемитов отделял, а когда надо было с охотой рассказывал о соседках по коммуналке, что вот, мол, я даже дружил... Так, впрочем, все антисемиты говорили, что была в их жизни некая соседка Розочка... но откуда Саша мог знать, что говорили другие.

В следующей комнате жил дядя Серёжа, которого маленький Саша боялся, так как он ему всё время по любому поводу грозил ремешком. Вряд ли сосед чужого ребёнка действительно бы «отходил» ремнём, но Саша ему почему-то тогда верил. Дальше жили муж с женой. Про жену он почему-то совсем ничего не запомнил, а муж был шофёр, возил «хозяина» на Победе. А потом в дальней от них комнате жила тётя Настя со взрослым сыном, который играл в футбол за завод «Каучук». Он там, наверное, и работал, но Саша этого не знал.

Их комната была небольшая и очень сырая. Родительская полуторная кровать, отгороженная занавеской. В углу его детская кровать с верёвочной сеткой, бабушкин топчанчик, поставленный вплотную к ней. Посреди комнаты на раскладушке спала Сашина, на десять лет старше, сестра Людмила. Она редко бывала дома, куда-то уходила, а куда Саша не знал. Ему это было совсем неинтересно.

Коммуналка хоть сырая и тёмная, считается неплохой. Все это понимают, и часто вспоминают, как папе удалось добиться этой их комнаты. Это был настоящий подвиг, кото-

рый ещё неизвестно чем мог кончиться. Когда Саша родился в 49 году, у родителей с сестрой была совсем плохая комната в Мерзляковском переулке. Там даже отопления не было, приходилось топить печь, которая то и дело выходила из строя. В углах комнаты лежал снег, замерзала вода в стакане. Саша родился слабеньким, начал болеть, кашлял, в три месяца его бронхит перешёл в воспаление лёгких. Уколы, больница, боялись не выживет. Отцу обещали новую комнату в связи с расширением семейства, но так и не давали, только руками разводили, предлагали «войти в положение» и немного подождать. Обезумев, отец взял в руки запелёнутого, даже не плачущего от слабости Сашу, и пройдя мимо возмущённой секретарши, вошёл со своим свёртком к начальнику. Начальник опешил, и поняв в чём дело, опять принялся обещать дать комнату, «как только будет возможность». Тогда отец бешено заорал: «Тогда сами ребёнка воспитывайте, или пусть он у вас тут умрёт», – положил на стол начальника Сашу в одеяле и вышел из кабинета, хлопнув дверью. В приёмной послышался громкий жалобный плач. Понятное дело, Саша ничего этого не помнит, но историю родители часто вспоминают. Получается, что если бы не Сашка, папа комнаты так бы и не добился. Саша понимает, что в этом никто не виноват, время было такое и вокруг все так жили. Хотя может и не все, но Саша не знал тех, кто жил по-другому.

Папа и мама уходят на работу, а Саша остаётся с бабушкой. Бабушка, мамина мама, ласковая, теплая, заботливая, с

ней лучше, чем с родителями. Бабушка у него неграмотная, жила в имении графа Орлова, заведовала в хозяйстве цветами, и граф Орлов её якобы выделял среди прочих. Так ли это было? Но Саше было приятно думать, что так.

А вот с сестрой у него никогда не было хороших отношений. Десять лет разницы сделали своё дело. Сестра казалась ему неинтересной, сварливой, никогда его не понимающей. У неё была своя жизнь, а у него своя. И сейчас, когда давно разведённая Людмила жила одна со своими старыми облезлыми котами, в которых она души не чаяла, Саша видит её крайне редко. Он всегда считал, что сестра жила неправильно, что её жизнь во всех отношениях не удалась, и она сама в этом виновата. Вообще-то она была жалкой, но жалеть её у Саши не получалось. А Людмила даже при их редких встречах не могла удержаться от советов и увещаний, как будто до сих пор видела в нём несмышлёного, противного мальчишку, которого она так и не научилась любить.

Мама тоже была добрая, но видел Саша её редко, только по воскресеньям. Сначала он даже и не знал, где она работает, но потом почему-то стал расспрашивать и узнал, что работа у неё для женщины обычная: мама швея, но не обычная швея-мотористка на фабрике, а «белошвейка». Это было новое для Саши слово и бабушке пришлось объяснять, что мама шьёт знамёна. Надо же, оказывается в Москве была такая специальная правительственная мастерская в ведении управделами правительства, небольшой цех по пошиву госу-

дарственных знамён по заказу. Знамёна были разные, иногда для союзных республик или даже братских стран, изготавливали их по индивидуальным проектам, на лучшем бархате, реже шёлке, пришивали драгоценные кисти из золотых шёлковых ниток. Мама знамёна не кроила и не шила, она на них затейливо вышивала золотым тиснением лозунги, серпы с молотами, государственные гербы и профили вождей. Все эти «Слава КПСС», и «Вперед к Победе Коммунизма» – это была мамина работа. Много лет спустя, когда Саша изредка думал о маминой работе, она казалась ему символом чего-то важного, нужного, священного. Там, в том спеццеху, работали особые люди, производя штучные особые изделия, они оставались анонимными исполнителями, полезными пчёлками, но незаменимыми, работающими на его Величество Государство. Вряд ли мама тогда тоже так думала и считала себя важной птицей, но какая разница. Мамина должность навечно вписалась в Сашином сознании как «государственность». Мама была ласковой, простой женщиной, но Саша ещё совсем маленьким начал понимать, что она затюкана отцом, боится его, опасается перечить, всегда старается быть незаметной и послушной. Чаще всего внешне было всё хорошо, но иногда по разным поводам происходили скандалы, мама в порыве безумной отваги защищала детей, и тогда отец её бил. Мама кричала: «Иди, Сашенька, иди к бабушке. Посидите на кухне. Всё будет хорошо. Иди, сынок. Мама, заведи его отсюда, мама». Саша сидел с бабушкой на

кухне, утыкаясь ей головой в колени. Бабушка гладила его по затылку и повторяла: «Не бойся, не бойся. Это ничего. Папа маму любит. Ничего, поссорятся, помирятся. А мы подождём с тобой». Маленький Саша поначалу никогда не понимал, почему родители ссорятся, с чего всё началось. Папа бьёт маму, ей больно, но она молчит, никогда не плачет. В детском саду он про родителей никому не рассказывал, а когда однажды признался товарищу в том, что у них происходит, товарищ сказал, что у них тоже так. Саша даже как-то успокоился: может так у всех.

Из-за этого, однако, с отцом у него были отношения непростые, хотя сначала об их сложности Саша даже не догадывался, просто у других папы были моложе. А когда он стал себя осознавать отцу было уже крепко за сорок. Он был неулыбчивым, жёстким, очень к детям строгим человеком. К Людмиле тоже, но к Саше больше: «Ты же мужчина, с тебя другой спрос», – вот что отец всегда говорил. «Надо слушаться отца, никаких почему, потому что я так сказал», – с этим Саша рос. Всё было предсказуемо между ними: «будь мужиком... не ной... не распускай нюни... не скули как баба... и опять, ты же мужик». С раннего детства Саша привык, что чуть что не по нему, отец берётся за ремень. Бил он его хладнокровно, по заднице, с небольшим замахом, мама слышала шлепки и вздрагивала, но сказать отцу ничего не решалась. Он имел право учить сына жить. Саша к ремню

привык, было больно, но не настолько, чтобы орать на всю квартиру, но Саша как раз любил орать, превращая наказание в спектакль. Можно было бы стоически молчать, смотреть на отца сухими злыми глазами, перенося унижение с поднятой головой, не доставляя отцу удовольствия своими воплями. Отец, наверное, даже был бы рад мужскому поведению сына, но нет, Саша не был стойким оловянным солдатиком, он боялся ремня, боли, унижения, боялся отца и его суженных холодных глаз. И всё-таки ремень Саша воспринимал как просто неприятное, но законное и нормальное наказание. А вот однажды, Саше было уже двенадцать лет, он запомнил неприятный эпизод с отцом, как будто это произошло вчера.

Денег в семье было совсем немного и никаких дорогостоящих подарков ему не делали. Ну тут на день рождения родители подарили ему велосипед, о котором он давно мечтал. Мама старалась, дарила ему то новые кожаные перчатки, то кроличью шапку, отец как-то купил маленькие костяные шахматы. Мамины подарки были практичными, а отец доставлял ему удовольствие. Ходил искал, выбирал, пытался, наверное, поставить себя на Сашино место. Но велосипед был всё-таки слишком дорогой вещью и считался баловством. Как уж мама отца уговорила, но велосипед, настоящий, подростковый «Орлёнок» ему подарили. Гостей на празднование не пригласили, было лето, многие друзья за городом. Повезло ещё, что этот день пришёлся на субботу, ко-

роткий день. Бабушка приготовила праздничный обед, папа выпил, родители торжественно вкатили в комнату велик. Саша даже жевать перестал, у него дыхание перехватило, всё-таки такого он не ожидал, думал, что отец ему удочку новую подарит. В тот же вечер они с отцом вышли во двор, шины заранее подкачали, немного опустили руль и сиденье: Саша был невысокого роста, щуплым мальчиком, бледным и не слишком сильным. Велосипед плавно скользил по асфальту и резко останавливался, как только Саша нажимал на тормоз. Папа тоже прокатился, ноги его практически упирались в руль, но всё равно было очень весело. Велосипед принесли и повесили на крюк в коридоре. В этот вечер Саша долго не засыпал, всё думал о своём новом велике, точно зная, что такого ни у кого во дворе не было. Назавтра, сразу после обеда, он попросил папу помочь ему стащить велосипед со второго этажа, но отец отказался: «Сам, сам, сынок, самому будет стыдно, что тебе папа велосипед выносит». Саше было жалко, что велосипед стучит об каждую ступеньку, но держать его совсем на весу он не смог.

Когда он вышел, у него было смешанное чувство: с одной стороны ему хотелось кататься на велике только самому, он ещё и сам им не наслаждался, но с другой стороны он знал, что если подойдет кто-нибудь из знакомых ребят, не дать прокатиться будет невозможно. Ярлык «жадный» практически никогда не снимался. Нет, всё-таки ему больше хотелось, чтобы ребята подошли, и тогда он похвастается, это было очень

важно. Пусть даже немного и покатаются по очереди, ничего страшного. Саше давно не было так весело, подошли знакомые ребята из его двора и из соседнего. Щупали велосипед, спрашивали, когда купили, открыто завидовали, а потом все катались по три круга. Саша понял, что в этот первый день ему самому покататься не удастся, но он об этом не жалел.

Родители велели быть дома в восемь часов. Отец как обычно ещё раз перед отходом его предупредил: «Слышь, Сань, что я сказал. Не позже восьми. Вот только попробуй опоздать, вообще больше никуда не пойдешь». Саша знал, что он так будет говорить, и совершенно не волновался, в восемь – так в восемь. Он ещё собирался посмотреть у соседа телевизор. У евреек был маленький КВН с линзой, днём прикрытый кружевной салфеткой. Саша уже заводил велосипед в подъезд, с трудом придерживая пружинную дверь, как к нему подошли два довольно взрослых парня:

– Велосипед дашь покататься, Сашок?

Откуда ребята знали его имя. Саша видел их в первый раз. Давать им велик не хотелось, он их не знал, «Орлёнок» был им явно маловат, да и он уже домой собирался.

– А сколько сейчас времени. Мне домой надо. Может завтра?

– Да, ладно. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Сейчас ещё восьми нет. Мы быстро.

– Ну ладно. Три круга вокруг двора, не больше, пожалуйста – ста осторожно...

Саша с тоской подумал, что велосипед он даёт им зря, но как не дать. Ребят было двое. Один уселся в седло, другой на раму. Саше показалось, что под их весом бедный велик просел. Они что-то смеясь, проорали и выехали со двора на бульвар.

– Куда вы? Вернитесь, эй... Мы так не договаривались...

Саша присел на лавочку и стал ждать, надеясь, что всё будет хорошо, но уже заранее зная, что ничего хорошего не будет, наоборот, всё будет плохо. Он ждал до половины девятого, других детей матери позвали в форточку домой, но его мама не могла так делать, их окна выходили не во двор, а на бульвар. Домой он вернулся с опозданием, без велосипеда. Когда он вошёл в комнату, ужин был в разгаре, его не стали ждать нарочно. На столе стояла сковородка с котлетами и картошкой, открытая банка килек и, наполовину уже выпитая, бутылка водки. Саша видел, что все были в благодушном настроении. Отец выразительно посмотрел на часы:

– Не можешь вовремя прийти, разгильдяй? Ты будешь солдатом, а там в армии дисциплина прежде всего. Надо бы тебя наказать, так ты никогда к порядку не приучишься. Да ладно уж, садись ужинать. Как покатался?

– Пап, у меня велосипед украли.

– Что? Что ты сказал, повтори.

Голос отца сразу взвился на самые высокие ноты. Он вскочил из-за стола, лицо его моментально побагровело, ноздри раздулись, кулаки сжались. Саша втянул голову в плечи и

немедленно начал плакать, размазывая по лицу слёзы.

– Ты мне тут ещё и нюни распускаешь. Говори мне правду, как украли! Говори!

– Большие мальчики подошли, попросили покататься.

– И ты дал? Дал свою вещь? Зачем? Зачем, я тебя спрашиваю.

– Не знаю. Что я мог сделать? Как я мог не дать?

– Как ты мог не дать? Очень просто. Не давал бы и всё, защищался. Что ты за мужик после этого? Как ты жить будешь? Трус! Где теперь велосипед? Я в выходные на работу выходил, чтобы его тебе купить. Ты же ничего, тварь, не ценишь. Ты сам ещё копейки своей не заработал. Я горбатился. Это всё мать: «сыночка наш велосипедик новый хочет...» Я её послушал, дуру. Да будьте вы все неладны.

Саша держался от отца подальше, знал, что он теперь долго будет кричать, размахивая руками и брызгая слюной, но отец неожиданно открыл дверь в коридор.

– Ладно, пойдем твой велосипед искать. Вот дал же бог сына мне недоделанного.

Они вышли на улицу, прошли за гаражи и сразу велосипед нашли. Он валялся в кустах чахлой акации, руль был вывернут, заднее колесо покосилось и на нём не хватало нескольких спиц, цепь совсем соскочила и валялась рядом. Было даже непонятно, как можно так искорёжить велосипед, разве что специально. Скорее всего хулиганы испортили «Орлёнка» нарочно, просто так, привычно злясь на весь мир. Отец

подхватил машину и не оглядываясь пошёл к подъезду. Саша понурясь последовал за ним. «Бить будет, – тоскливо думал он, мать вмешается и ей попадёт. Сестра с бабушкой будут сидеть на кухне». Саша знал, что так будет и уговаривал себя не орать и не плакать. Мама ему всегда говорила, что надо терпеть, чтобы было тихо, иначе соседи могут в милицию позвонить, и у папы будут неприятности, а это, мол, наше семейное дело, мы сами разберемся. «Пожалуйста, сынок, ты понял? Папа тебе только добра желает, хочет из тебя человека воспитать. Мне не доверяет, говорит, что я из тебя лапшу воспитываю. Ладно, сынок?» Саша обещал, старался плакать и просить прощения совсем тихонько, но не всегда ему это удавалось. Отец подозрительно не взялся сразу за ремень, и Саша уже совсем было решил, что пронесёт, но внезапно отец подошёл к нему вплотную. Саша сжался, в лицо ему пахло водкой, совсем близко он видел папины бешеные глаза и искусственные передние зубы из нержавеющей стали.

– А теперь ты мне ответь, почему ты такой размазня? Что с тобой не так? А?

Саша молчал, ответить ему было нечего, да отец и не ждал ответа.

– Ты, ублюдок, вообще мой сын? Ты новый велосипед просрал. Это как? Я на тебя спину гну. А ты вон так. Так и будешь никчёмностью и слабаком. Посмотри на себя! Красавец, сопли текут, дыхалка не работает. Что не так? Когда мне 12 лет было, уж я бы не плакал, я бы их зубами, когтями,

я бы им глаза выцарапал...

Папина рука цепко ухватила Сашино левое ухо и его пальцы сильно его сжали. Саша попытался высвободиться, но чем больше он пытался вырваться, тем сильнее отец тянул ухо к себе, выкручивая Саше мочку.

– Пусти, больно, больно... пусти, ты что...

– Больно? Хорошо, что больно. Мне и надо, чтобы тебе было больно, иначе не поймешь, иначе ничему не научишься. Через боль учатся.

– А-а-а...!

Сквозь пелену невыносимой боли Саша слышал тревожный голос матери: «Ваня, Ваня, отпусти его. Ты ему ухо оторвёшь. Так нельзя, Ваня, Ваня, не надо...» Отец продолжал рвать ему ухо, Саша почувствовал, что мочка надорвалась, потом ещё сильнее, почти отделилась от раковины и из трещины по светлой рубашке полилась кровь. Кровь текла по шее, стекала на грудь, ухо нестерпимо горело. Он уже не мог сдерживать своих воплей. В дверь постучали, и голос дяди Серёжи громко и довольно весело спросил:

– Эй, Вань, что там у вас за концерт? Нельзя потише? Саньку учишь? Так не убей совсем, а то сядешь. Оно тебе надо? А если что, меня зови, я так отхожу, никаких следов не видно. Ладно, шучу. Пойдём к «курочке» телек смотреть. Брось парня, тебе же завтра на работу.

Отец, тяжело дыша, отпустил Сашино ухо и вышел в коридор, откуда слышался его шуточный разговор с дядей Се-

рёжей. Мать бросилась к Саше, обняла его, в комнату вошли бабушка с Людой. Бабушка вытащила йод, бинт, стала предлагать ехать в больницу зашивать, но мама только вздохнула. Никуда они, конечно, не поехали. Саша лежал в постели, уху мама ему как могла перевязала. Он судорожно вздыхал, отца ненавидел, сознавал свою ненависть и не стыдился её. «Я ему скоро покажу, он у меня попляшет, сволочь», – думал Саша. Потом его мысли переключались на поломанный велосипед, который, он это знал, сам он никогда не починит. Отец отойдёт и поможет, но сейчас Саша не был уверен, что хочет его помощи, вообще хочет ли велосипед, подаренный отцом. Уже почти засыпая, Саша подумал, что в чём-то отец прав: он и правда трус и слабак. Ну почему он такой, в кого? Уж точно не в папу. Папу он уважал, а как же иначе.

Из раннего детства Саша запомнил отца в гимнастёрке. Она была старая, в дырах, папа носил её дома. Ещё у него была во многих местах истрепанная и прожжённая кожаная танкистская тужурка, которая Саше очень нравилась. Папе, однако, фронтовая одежда не казалась такой уж привлекательной. Для работы у него был единственный костюм, на который он прикрутил орденские колодки. Никаких особых наград он за войну не получил.

Отец родился в девятом году, в Рязанской области, в семье крестьянина-середняка. Коллективизация их семьи не коснулась, потому что дед деревню не любил и ушёл в Москву, заделавшись стекольщиком, сын ушёл с ним. В самом кон-

це 20-х молодой стекольник понимал, что стекольник, чистильщик или точильщик – это частник, что надо выбирать-ся в рабочие. Он поступил на рабфак, а потом сразу в Московское бронетанковое училище, где познакомился с молодой девушкой-гардеробщицей и перед самой войной женился на ней. В 39 году у них родилась дочка Людмила. Молодой лейтенант Иван жил с женой в чуланчике. Ночью, в сентябре того же 39 года за ним пришли и отвезли на Ходынку, где задавали странные вопросы, на которые он практически не отвечал. К утру отпустили и сразу дали направление на Дальний Восток, куда ему пришлось немедленно уезжать с семьей. Не успел Иван приспособиться к службе, как у него пропал табельный пистолет, кто-то его украл. Разговор был короткий: трибунал и лагерь. Даже тогда Иван понимал, что пистолет у него исчез неслучайно. Зачем кому-то понадобилось сажать молодого танкиста? Неизвестно. Кавалерист Ворошилов делал всё, чтобы находить среди танкистов врагов народа. Отец провёл в лагере три долгих года. Про лагерь, однако, он всегда говорить избегал, Саша так и не понял, как он свою отсидку воспринял: то ли обиделся на Советскую власть, то ли считал всё недоразумением? Осенью 41 года Иван записался в штрафбат и ушёл на фронт. Саша так никогда и не узнал, было ли это отцовское решение добровольным. Может быть да, а может и нет.

По тем временам в отцовской истории не было ничего примечательного: серьёзное ранение под Мариуполем, гос-

питаль, потом ещё две контузии. Войну он закончил в Праге, майором-танкистом, прослужил там ещё какое-то время, так как его часть была брошена на подавление мятежа. Много лет спустя Саше где-то попались в интернете фото той старой «пражской весны». По центру города идут танковые колонны, а в одной из машин сидит молодой боец. Саша вглядывался в фото в надежде увидеть папино лицо, но видел только чужие немного растерянные лица. «Почему нас так встречают, мы же их освободили...» Какая была путаница. На одной из фотографий изображена надпись мелом, советская звезда соединена знаком равенства со свастикой. А на танке кто-то написал «го хоум», но разве кто-нибудь мог тогда понять эту надпись на английском. Саша гордился советскими танками на улицах Праги, не принимая правоты, уверенных в своём праве на свободу, чехов.

Отец на получил ни одного ордена, вернулся только с несколькими медалями. Он, правда, и не ожидал, что Родина оценит его подвиги, бойцы штрафбатов должны были благодарить судьбу, что вернулись живыми. Из армии отца сразу уволили, и на работу он не мог устроиться довольно долго. Через знакомых с большим трудом устроился на механический заводик на Пресне специалистом по дизельным моторам. Так отец на этом заводике всю жизнь и проработал.

Эта часть папиной биографии представлялась Саше героической, он отцом гордился, и многое ему потом в его характере казалось объяснимым: лагерь, война, несправедли-

вности власти. Мог ли он быть другим? И всё-таки Саша ничем не мог объяснить себе грубость отца к матери. В десятом классе, когда после интенсивных и серьезных занятий спортом Саша превратился в довольно крепкого сильного парня, он наконец смог положить конец отцовскому рукоприкладству. «Так, хватит! Оставь её! Пока я здесь, ты мать больше пальцем не тронешь!» – Саша перехватил уже занесённую отцом руку. Если бы отец постарался его ударить, то Саша бы не знал, что делать, он был совсем не уверен, сможет ли он драться с отцом, ударить пожилого человека у него бы не поднялась рука. Отец в драку с сыном не полез и мать больше никогда не бил. Каким-то образом он понял, что в доме теперь было два мужчины, но это его не радовало, хотя он так хотел видеть своего Сашку «настоящим мужиком».

Став взрослым, наблюдая папино угасание, старческую беспомощность, бессилие, горечь, сознавая, что отец прожил трудную, несчастливую жизнь, Саша очень многое ему прощал. И всё-таки старый Иван мог вызывать в нём уважение, но любви не вызывал. Слишком отец был с ним в детстве жесток, слишком ко всему, выходящему за рамки дисциплины, равнодушен, вспыльчив, несправедлив к дочери, у которой из-за него были ужасные проблемы, которых могло бы и не быть. Так Саша папу и запомнил: жесткий, скрытный, малокультурный, никого не привечающий и одинокий, под конец сторбленный, неходячий. Саша поднимал отца на руки, мыл в ванной, ему было его жалко. Зато мать потом

передала Саше последние отцовские слова, которые он успел ей прохрипеть перед смертью: «Держись, мать, за Сашку». Признал-таки в нём мужчину, который станет матери опорой. Что ж, Саша был рад, хотя ему он никаких наставлений напоследок не сделал. Они вообще никогда ни о чём не разговаривали, Саша даже не был уверен, что отца сколько-нибудь вообще интересуется его жизнь. Пришёл пару раз на бои, Саша победил, и видел у отца на лице улыбку. Вот и всё. За всю жизнь пару раз. Что происходило у отца в душе? Конечно, он был на власть обижен, хоть и считал себя «маленьким винтиком». Отцу хотелось справедливости. В 56 году он был полностью реабилитирован, но в партии его не восстановили, даже не объяснив почему. Отец писал письмо 22-му Съезду партии, с нетерпением ждал ответа, но так никогда его не получил. Прав он был насчёт винтика, зачем винтику отвечать. Впрочем, обсуждать всё это папа отказывался, ни с кем не желая делиться своей горечью.

Саша рос очень болезненным мальчиком, бледным астматиком, вечно задыхающимся, слабым и из-за этого трусоватым. Во дворе и в школе, где надо было уметь давать сдачу, Саша пасовал перед сильными, грубыми и наглыми. Он не умел себя защитить, всех боялся, а больше всех отца. Из-за астмы он и пошёл в футбольную секцию, сосед настоял. Мама отвела, купила бутсы. Она надеялась, что спорт её Сашеньку как-то закалит. В лекарствах она уже к тому времени разуверилась. Врачи советовали возить на юг, но какой уж

там при их заработках юг! Отец считал футбол баловством, «мяч гонять» было, с его точки зрения, бессмысленно, но препятствовать не стал. Саша футбол очень полюбил, играл хорошо, много тренировался. После 8-го класса он стал ходить в престижную школу в районе Сокола. От их дома это было далековато, но мама для него эту школу нашла и «велела», Саша послушался, хотя предчувствовал, что в этой физико-математической школе при МАИ ему будет трудно, но всё равно пошёл, и не пожалел, потому что там познакомился со своим самым лучшим и любимым другом, ставшим впоследствии мастером спорта международного класса, знаменитым на весь мир хоккеистом, сыном скромного московского рабочего и испанки из знаменитых довоенных беженцев. Совершенно получился русский юноша, но с испанским темпераментом и с испанской внешностью. Этот русский испанец стал Сашиним кумиром, самым главным в его жизни человеком, другом. Он его любил, обожал, даже боготворил, сам на себя за это сердясь. Вот за таким парнем он и отправился в школу на Соколе, где все знали, что рядом учится знаменитость, а Саша его друг. В школе родилась милая, ласковая Сашина кличка, которой любя его наградила друг. Он прозвал Сашу по первым буквам фамилии Чугунов. Как ловко и необычно получилось – Чуги! «А где Чуги? Вы Чуги не видели? Ну ты, Чуги, сегодня дал!» Замечательно, кличка ласкала Сашин слух, льстила, каждый раз напоминала, что так его зовёт ОН, друг.

Да только подражать не получалось. Не то было чувство юмора, не та уверенность в себе, не те возможности, не тот жизненный опыт, не тот характер, не та, в конце концов, внешность. Так хотелось блеснуть, и Саша старался, весь во власти своих подростковых импульсов, комплексов, очертя голову, бросаясь в нелепые эскапады. Ему так хотелось быть дерзким, отважным и лихим парнем, а он был добрым, несмелым и слегка нелепым мальчишкой.

Школьная вечеринка, все собрались в тёмном классе, превратив парты в столы, скромно накрытые к чаю. У них литературный альманах под руководством толстой, средних лет, пресыщенной и небрежной учительницы литературы. На импровизированных столах, надо же, горят свечи. Это модно. Девочки декламируют стихи, все лирические, красивые, малоизвестные. Всем нравится быть вечером не дома, происходит нечто необычное, слегка запрещённое в школе, но всё-таки приветствуемое этими почти детьми, желающими как можно скорее стать взрослыми. А любовные стихи и есть взрослость. Но всё в рамках, в присутствии учительницы, казённо и прилично. И вдруг Саша, сидящий с ребятами за дальним столиком, поднимает руку:

– Елена Михайловна, а можно я тоже прочту...

– А что ты, Саша, будешь читать? – учительница хочет знать.

– Есенина. Можно?

– Есенина? Ну конечно, давай. Очень хорошо.

Учительница несколько удивлена, но довольна. Альманах удался. Можно будет отчитаться за внеклассную работу по предмету. Саша встаёт, порывисто вздыхает, поддёргивает засученные рукава белой рубашки, немного теребит свои чёрные, уже коротковатые ему школьные брюки, и начинает... никто в классе этого стихотворения не знает. Может и учительница его никогда не слышала. Ей всё становится ясно с первой строфы, он Сашу она уже прервать не может. Он дочитывает до конца:

*Милая, не бойся, я не груб,
Я не стал развратником вдали.
Дай коснуться запыхавших губ,
Дай прижаться к девичьей груди.*

*Глупая, не плачь, не упрекай,
Не пытайся оттолкнуть меня.
Ты ведь знаешь, я не негодяй,
Я мужчина, я хочу тебя.*

*Я люблю, и ты должна понять,
Это жизнь, потом или сейчас
Ты себя обязана отдать.
Это будет с каждою из вас.*

*Девочка, ну что же ты молчишь?
Почему ты не поднимаешь глаз?
Ты ведь хочешь, ты ведь вся дрожишь.*

Мы ведь оба ждали этот час.

Он пришёл, отбрось ненужный страх.

Юность в жизни только раз дана.

Будь послушна на моих руках,

Дай раздеть – одежда не нужна.

Ты молчишь, не в силах отказать.

В первый раз раздета не для сна.

Милая, ну что тебе сказать?

Ты прекрасна, как сама весна.

Длинное, не бог весь какое художественное стихотворение, какое-то прямо руководство по дефлорации, но Саше как раз этого и надо. Он весь во власти текста, представляет себя на месте лирического героя: это он – мужчина, который «хочет», это он «не развратник», он «ласкает девичью грудь», а она «дрожит»... ах она! Его гипотетическая милая. Ему невероятно нравится такой Есенин, который оказывается хочет и делает то, о чём он сам мечтает. И ещё... училка застыла, не ожидала. Он ведь прекрасно знал, что его стихок произведёт фурор. Ребята обалдели, девчонки сидят, опустив глаза. Все молчат, не знают, что сказать. А что говорить, когда это так огромно. Это уже взрослый мир, который он им показал. Это вам не какая-нибудь матерщина, не похабные картинки на стене туалета, это поэзия. Он прочел ТАКОЕ стихотворение и ничего ему не будет. Учительни-

да первой начала кисло хлопать, решив непременно узнать, откуда Чугунов, вот идиот, взял этот мерзкий, совершенно несоответствующий их возрасту стишок. Она вообще-то сама виновата, нельзя ничего было пускать на самотёк. Лишь бы никто не узнал. «Хорошо, ребята, если хотите, мы можем потом все стихи обсудить», – вот что она им сказала. «Все» – значит «ни одного». Если кто-нибудь встрянет, что вряд ли, она скажет, что почему нам именно с Есенина начинать? Давайте начнем с... Да всё равно с кого. Наглые пошли ребята в последнее время. Читали Лермонтова «Счастливый миг». Там про то же самое, но не так явно. Чёрт бы их всех побрал. Скоро она всех распустила, но Сашка запомнился ребятам из класса именно этим своим Есениным. Стихотворение всем понравилось, и Сашка оказался смельчаком, жалко друг не слышал, он был на сборах. Впрочем, Чуги знал, что особого впечатления «девичья грудь» на друга бы не произвела. Тоже мне невидаль. Что он сисек не видел. Много лет спустя, ещё раз столкнувшись с этим текстом, Саша увидел, что авторство Есенина многие подвергают сильному сомнению. Считается, что текст «под Есенина», но Саше так думать было неприятно, нет это Есенин, это его стиль. Как будто он вообще понимал в поэтических стилях. Чуги, однако, всегда считал своё мнение правильным, был в нём уверен, и сомнению свои убеждения не подвергал, считал это интеллигентской мягкотелостью. Перед вечеринками выпивал в туалете с приятелями, смело приглашал девчонок, стараясь в мед-

ленных танцах прижать их как можно ближе. Впрочем, девочек он тогда ещё побаивался, хотя мелким, загнанным, тяжело дышавшим трусишкой, с вечной соплей под носом, Саша быть перестал. Вечерний МАИ был Саше скорее по вкусу, он чувствовал себя взрослым. Никаких справок о неперемнной работе ему никто доставать как другим не стал. Саша начал действительно работать на Ухтомском вертолётном заводе в Люберцах, играл за завод в футбол, и ещё постоянно за московское «Торпедо». Впрочем, особой гордости от того, что он пролетарий, Саша не испытывал, хотелось другого.

А ещё у него открылось чувство ритма, и он стал ударником в заводском ансамбле. Да, ничего он тогда жил, нескучно, хотя учеба изрядно отравляла ему жизнь. Так всё было трудно: сопромат, начерталка, специальность – это на троечку, а матанализ пришлось несколько раз пересдавать. На зачётах и экзаменах Саша терялся, начинал немного заикаться, забывал даже то, что учил. На дневное отделение он перейти даже не пытался, под конец учёбы отец друга устроил его на завод «Коммунар», за который он тоже играл в футбол. Играл хорошо, и забитые голы поднимали Сашу в собственных глазах. Плечи его развернулись, он с удовольствием ощущал свои переливающиеся под кожей мышцы. Они не были рельефными, бодибилдинг был ещё никому неведом. Наверное, если бы он был доступен, Саша бы с удовольствием качался и принимал анаболики. Он так любил своё тело. Оно казалось ему пропуском во что-то хорошее, ценное

и красивое – спорт, интересная мужская работа, женщины. Вот для чего надо было иметь крепкое стройное тело, а оно у него было. Саша смотрел на себя в зеркало и его переполняла гордость, надежда, что всё у него будет хорошо. Да у него уже всё и так было хорошо.

Один раз, такой вот случился сказочный зачин, Сашу вызвали в заводоуправление, он удивился, поскольку был рядовым наладчиком, ещё без диплома и у начальства не могло быть резонов его видеть, но мастер настаивал, причём как-то нервно, чтобы он сразу шёл. Его встретил замдиректора и сказал, что с ним, Сашей, «один товарищ хотел бы поговорить». Что за товарищ? А что? Кто это? – Саша внутренне напрягся. «Заходи, заходи. Увидишь», – замдиректора подтолкнул Сашу в свой кабинет и прикрыл дверь.

– Заходите, Александр Иванович. Садитесь. Мне о вас рассказывали. Говорили о вас много хорошего. Хочу с вами познакомиться лично. Не хотите ли Родине послужить?

Как не был Саша сбит с толку, он сразу догадался, о чём «товарищ» хочет с ним поговорить. Теперь ему казалось, что он этого ждал, что сразу знал, зачем его зовут. Его выделили. Это было так потрясающе, так здорово. Ему предлагали стать сотрудником КГБ СССР! Ему доверяли, его заметили. Странно, откуда они вообще о нём узнали? Саша подумалось, что надо бы сильно подумать прежде, чем соглашаться, может с кем-нибудь из старших посоветоваться. Да и несолидно вот так сразу соглашаться, но совладать с собой он не

МОГ:

– Да, я согласен. Спасибо за доверие. А что я должен делать? Когда начинать?

– О, какой ты быстрый.

Саша заметил, что «товарищ» начал говорить ему «ты», он уже был как бы свой. Вот что он вылез? Надо было помалкивать, подождать, что ему скажут. Но это, видимо, было делом решённым.

– Ладно. Я в тебе не сомневался. Правильно мне товарищи говорили. Работай пока, жди, мы тебе позвоним.

И тут Саша обнаглел, сам знал, что перебарщивает, но всё равно спросил, уж очень это было важно:

– А от армии меня освободят? Когда я начну службу проходить?

– Тебе позвонят. Я тебя больше не задерживаю. Можешь идти. О нашем разговоре не болтай. Да ты и сам это понимаешь. Всё, иди.

Саша ехал на метро домой и сердце его выпрыгивало из груди от радости. Лучшего предложения ему в жизни никто не делал. Он будет чекист, почётное звание. Там служат люди, высоко несущие знамя большевиков, чистого рыцаря революции железного Феликса, он будет на важной государственной работе, важнее которой ничего нет. Да, были репрессии, и что... время было такое. Всех нельзя под одну гребёнку. Он же не должен нести теперь личную ответственность за то, что было раньше. Он не станет подличать, бу-

дет честно служить, он сможет, он ничем своё звание не по-срамит. Их служба так нужна. Людей, все наши ценности надо охранять. Пусть люди ничего о нём не узнают. И не надо. Даже хорошо, что его работа будет засекречена. А если повезет, а ему должно повезти, он станет разведчиком, его внедрят в сеть, он будет резидентом. А по праздникам он станет надевать свой парадный мундир, фуражка с высокой тульей, золотые погоны с малиновым околышем, и большие звёзды, а потом, может, только одна, самая большая звезда. Саша заранее собой гордился: вот его путь. Он точно отличится, будет служить родине, своему народу. Он вышел на Динамо и пешком пошёл домой весь в радужных мечтах. Вот уж повезло ему – так повезло! Никакого хорошего талантливого инженера из него бы не вышло. Не те мозги. Никогда бы ему не вырваться из середняков, чтобы он ни делал. Всё у него будет по минимуму: зарплата, окружение, женщины. А сейчас... он продвинется, у него будет карьера. И высокая в соответствии с количеством звездочек, зарплата, и спецпаёк. Говорят, у них есть спецмагазин и там продают любой дефицит. У него будут возможности. И еда, и одежда... вообще... блат. Ура! Интересно, а родителям можно сказать? Наверное, можно. Мама промолчала, Саша так и не понял, рада она за него была или нет. Впрочем, за обычной маминной сдержанностью, Саша видел, что она недовольна, хотела видеть его инженером. Отец только сказал, что «посмотрим, что будет. Нет ведь пока ничего. Работай, они на тебя ещё

посмотрят. Ишь, разбежался...»

Ничего отец не понимал. Они же сказали, что позвонят – значит позвонят, со дня на день позвонят. Никто ему не звонил два года. Сначала Саша ждал звонка или вызова «куда надо» каждый день, потом острота этого ожидания пропала. В отдел кадров пришёл пакет, там анкеты, которые Саша сразу заполнил, вскоре он целый день провёл на медкомиссии. И всё. Больше ничего не происходило. Выходит, отец был прав. В сентябре он получил диплом МАИ и почти сразу повестку в военкомат. Надо было идти служить, пусть на год как специалист, но он же совсем не собирался. Как же так? Они обещали, что он не будет служить, как остальные. Или не обещали? Саша помнил, что он об этом спрашивал, но что ему ответили? Он так понял, что в армию не пойдёт. Это что же такое? Как они его кидают, неужели не заступятся? Как странно. Нет, никто за него и не думал заступаться. Ну ничего. С первым разрядом по футболу Сашу брали на год в Севастополь, в береговую охрану. Почти курорт. Он должен был играть в команде Черноморского флота. Ничего. Саша пришёл на сборный пункт в лёгкой одежде и в несколько курортном настроении. Их построили, родители с сестрой уже стояли вдалеке за забором. Человек сто в строю, все спортсмены. Зачитали приказ: их отправляли на Карское море, на Диксон, за полярный круг. Саша не выдержал, около автобуса подбежал к начальнику и стал ему сбивчиво объяснять свои обстоятельства... «ему обещали, его готовят...

он должен служить в Севастополе... у него первый разряд... это недоразумение, надо разбираться, надо позвонить...» – «Идите на посадку, Чугунов. Я видел ваши документы. Никакой ошибки нет. Никуда я звонить не буду. У нас пока бойцы не выбирают место прохождения службы». Саша обиделся. Как же так можно? Они его бросили. Почему Диксон? Уже же всё было решено. Кто виноват? Потом он успокоился: Диксон – так Диксон. Так он год и прослужил на радио-локационной станции. Их боевая задача была в слежке за американцами. Не хватало еды, Саша невероятно похудел, было холодно. В футбол он играл, но только следующим летом. Да и что это был за футбол. Одно название. Ребята во взводе, которым он командовал, были хорошие, никакой дедовщины, её время ещё не наступило. Скучно, в увольнительную сходить некуда. На острове был один магазин, где кроме скудного набора продуктов можно было купить водки. Солдатам водку было продавать запрещено, но все знали, что это правило нарушалось. Сгущенка была разменной монетой. Саша запомнил, что один раз из-за пурги в столовую не завезли хлеба, и вместо хлеба в магазине закупили сдобных булочек и копчёной колбасы. Саша привез с Диксона особую черную куртку спецпошива, с двойным запахом и меховым воротником. Она была похожа на папину танкистскую.

Дембелем Саша особо не наслаждался. Не было денег и почти сразу пришлось возвращаться обратно на завод. Про

КГБ он почти не вспоминал, но через месяц его опять вызвали в заводоуправление и вручили на руки направление на Высшие курсы КГБ в Минске. В поезде попутчики спрашивали его, куда он едет, Саша не говорил, и ему было приятно, что он уже причастен к государственной тайне. Никто даже и не знал, что в Минске есть эти самые Высшие курсы. В Москве он оставил любимую девушку, и всё у него было хорошо. Учёба его не пугала. Это не могло быть труднее, чем МАИ. Но тут он ошибался, оказывается... могло. Нажали на них сильно, учиться было трудно, но сомнений в том, что всё он делает правильно у него не было. Где-то жили диссиденты, среди них были откровенные враги, были заблудшие. Вот Сахаров, например, такой заслуженный человек, талантливый учёный, а жена сбила его с пути, заморочила голову антиобщественными, антисоветскими ценностями. Вокруг говорили, что она еврейка, нечего, мол, удивляться. Чёрт его знает, может, это так и было. Евреи уезжали. Страна им всё дала, а они её предавали. Чего им не хватало-то? Это было невозможно понять.

Саша буквально упивался «секретными» оперативными дисциплинами, и гордился, что он знал и понимал жизнь лучше, чем другие. Да, КГБ – это вооруженный отряд партии, что бы интеллигенты по этому поводу не полагали. Пусть говорят, что они все «гэбня кровавая». Те, кто так говорит, ничего не понимают. Неужели непонятно, что их пресловутая неконтролируемая свобода приведёт к развалу. Бу-

дет хаос, война, обнищание, анархия. Он и его товарищи этого не допустят. А не нравится... пусть уезжают. И без «них» справимся. Без кого без «них», Саша не уточнял, но было понятно.

Как он хотел бы поехать служить в Афганистан, писал рапорты начальству, но его не послали, сочли нецелесообразным, а ему так хотелось орденов. Он почему-то был уверен, что вернулся бы героем. А если бы совсем не вернулся? Да нет, не может быть. Он бы вернулся.

Спецслужбы контролировали любые ситуации, вся информация стекалась на Лубянку, а Саша был винтиком этого огромного механизма, и винтиком ему быть нравилось. Он считал себя контрразведчиком, курировал Северный Кавказ. Какую он там создал агентурную сеть, как сам лично дружил с представителями местной элиты. Предотвратил массовые беспорядки, которые удалось локализовать в Северной Осетии, как ему пришлось выступать медиатором в непримиримой борьбе осетинов и ингушей. Там, как обычно, искры хватило: ингуш зарезал пацана, осетина. Да там и так всё было накалено. Предки ингушей в могилах лежат на земле осетин, и каждый народ прав. Президент Ингушетии стал его другом. Началось, заложников взяли. Руководство поддержало осетинов, а ингуши... их выселили, потом обратно пустили, а там уже осетины. Ингушей не прописывают, никуда не выбирают. Саша годами жил этими проблемами. Но кто хотел с этим разбираться? А легко ли было примерять армян

и азербайджанцев? А если не выходит, тогда... вооруженный конфликт, но в том-то и дело. Это он, Александр Иванович Чугунов, бывший Чуги, не давал конфликту переходить в войну. Потом Нагорный Карабах. В газетах писали ерунду. Какая была спецоперация по усмирению вооруженных выступлений в Бельхотово, 16 человек погибли. Как он тогда интенсивно жил! Какая опасная командировка: он в камуфляже с оружием, руководит, за всё отвечает, старается провести операцию без лишней крови... Да, кто об этом знал? Кто ему спасибо сказал? Заслуженную звёздочку не дали. Ну что ж, не выклянчивать же её. Он и тогда прекрасно понимал, что борьба на Кавказе никого не интересует, в газетах пишут неправду. О его службе не узнают, но что это меняет: война там никогда не утихнет, только когда он служил, она не разгоралась, он её сдерживал, умел... а потом там стала литься кровь и всем было безразлично. Как стыдно!

Вместо наград его почему-то перевели из знаменитого пятого управления в седьмое. Да собственно не «почему-то», а потому что слишком уж он дружил с Русланом Аушевым, руководство сочло, что личное стало мешать работе. «Семёрка» – управление по охране первых лиц государства. Саша счёл это понижением. Да так оно и было.

Началась перестройка, которую Саша принять не мог. Впрочем, Андропова он буквально боготворил. Он был настоящий, не слонтяй, наоборот, проявлял нужную твёрдость. Пора было очищать родину от коррумпированной сво-

лочи. Начали с Рашидова, сняли, и поделом. Сколько их таких было. Страна погрязла в воровстве, ЦК в разврате. Андропов – серьёзный мужик, он бы смог, но болезнь помешала. Вот какой комитету нужен руководитель. Саша весь сжимался от ненависти, когда вспоминал министра госбезопасности Бакатина. Мразь либеральная, развалил всю систему внешней разведки, которую профессионалы выстраивали годами. Бакатин предатель, которого нужно было расстрелять, но ему, разумеется, ничего не было. Он же сдал систему «прослушки» в американском посольстве. Да как он мог? Зачем? Американские профессионалы конечно смеялись над русскими дураками. Как стыдно!

Саша воспрял, когда случилось ГКЧП, вот это был шанс остановить сползание страны в хаос. Он уже тогда служил в «семёрке», и его группа сидела в автобусе около Кремля на изготовке. У них был приказ арестовать Ельцина, Чубайса, Гайдара и прочую шушеру, но напрасно они тогда прождали. Ничего не получилось. Никакого ареста не произошло, по рации дали отбой, и ребята пошли за водкой. Саша смотрел потом по телевизору на дрожащих заговорщиков и ему было противно. Как стыдно! Только Пуго оказался мужчиной, остальные – импотенты.

Начались бесконечные разоблачения чекистов в прессе, как их шельмовали, как ненавидели, ему бы плевали вслед, если бы знали, кто он такой. Новая служба Саше не нравилась, ему вокруг вообще ничего не нравилось. Конечно,

охранять первых лиц государства почётно, но всё чаще и чаще охранять приходилось кого попало, в основном богатых, даже каких-то криминальных авторитетов. В начале 93-го Саша, уже давно полковник, руководил группой по освобождению заложников. Увезли дзюдоиста-армянина, назначили «стрелку»... Темно, две машины около музея Ленина, из Жигулей на тротуар выталкивают парня, машина уходит к «Метрополю», их Волга начинает преследование, из Жигулей летят пули, одна из них разбивает им лобовое стекло. Они тогда всех потом нашли: какие-то «хачики» хотели купить машину, денег не заплатили, машину угнали. Хозяева взяли заложника. Криминал, раньше не имеющий к Саше никакого отношения, а теперь им и его группе заплатили пять тысяч долларов. Большую по тем временам сумму. А ведь он не сам заключал сделку, он просто получил приказ. Получалось, что теперь услуги его группы покупались. Это им пять тысяч заплатили, а сколько начальство получило? В них стреляли, он живот свой подставлял, он полковник госбезопасности, слуга отечества. Ради кого, ради чего? Ради денег? Конечно не всегда речь шла о деньгах. Дагестанцы двух американцев захватили. Он сам планировал операцию. Деньги передавали в людном месте на Центральном телеграфе. Отбили тех дядек, у них было оружие, но стрелять не пришлось, как бы они стреляли, когда вокруг люди. Из того эпизода Саша запомнил белый шикарный костюм, который он купил себе во Франции, летний из льняного полотна. Са-

ша сам себе казался похожим на иностранца. Американцев они сопровождали в гостиницу «Националь», где с них снимали показания, но это уже было не Сашино дело.

Союз развалили, родину продали, Горбачёв – последняя сука, Ельцин – алкоголик. Смотреть на всё это было уже невозможно. Саша хотел уйти в отставку, но не мог собраться с духом. Его просто в 93-м году уволили. Да, может, и хорошо, что он не участвовал в мерзком преобразовании КГБ в ФБР. Он был сотрудником КГБ СССР и им навсегда и останется. Наступили новые времена, всё разрушено, мелких преступников судят, а крупные только растут по служебной лестнице. Руководителей меняют, а проблемы остаются. Саша не хотел этого видеть, но признать, что его вот так выгнали, не дали генерала, звания, которого он был достоин, просто выкинули на помойку, выгнали позорно, уцепившись на первый попавшийся, глупый, по сути, сфабрикованный предлог – это было ужасно, несправедливо, цинично и вероломно. Ну да, он сам виноват: надо было лизать задницу, а он не умел, всегда считал, что служить нужно честно, а теперь его понятие честности даже было никому непонятно.

Нет, самое всё-таки горькое – это была причина увольнения: ему нужно было лететь на семинар по карате в Швецию. А тут как раз срок годности его заграничного паспорта истекал. Жена Нина по блату сделала ему новый паспорт. Она вообще кое-что могла делать не через официальные каналы. Мелкие «блаты» продолжались годами, а тут она «по-

палась». Саша был на сто процентов уверен, что её специально подставили, имея целью избавиться от него. Началось служебное расследование, завели уголовное дело, Нине грозил срок. Его вызвали, и пообещали оставить «в рядах», если он сдаст жену, даст на неё показания. Он, мужчина и офицер, сдаст жену? Знали, что не сдаст. Тогда вежливо попросили их обоих написать рапорт об увольнении на пенсию, в противном случае... Они написали рапорт сразу же, что тут было думать. Он потом Бакатину рапорт писал, пытался добиться восстановления, но ему даже не ответили, он же был уже никто. Их с женой упрекнули в подлоге и коррупции! А сами брали деньги за прикрытие незаконного бизнеса, за охрану сомнительных личностей, приватизировали и продавали за бешеные деньги оперативные квартиры! Мерзавцы, им руку стыдно подавать, он не хочет иметь ничего общего ни с органами, ни с властью, ни с бывшими соратниками, которые теперь служат в ФСБ. Саша так хотел быть гордым, не вспоминать о предательстве родной «конторы», но забыть, что его «ушли» на пенсию не мог. Сделали из него ветерана, а он мог бы ещё послужить Родине. Да как они смели! Он был растерян, буквально смят допущенной несправедливостью, он оказался за бортом, ему даже генерала не дали. Твари!

Слава богу, что у него остался спорт, который теперь стал всей его жизнью. Первый разряд по футболу давно был неважен. Ещё в Минске он начал заниматься боевым самбо. Кувырки через голову, назад, вперёд, рывки, захваты: каждую

тренировку у Саши шла носом кровь. Потом это прошло. Ему раньше казалось, что он никогда не сможет сделать человеку больно, считал себя для этого слабым. А тут у него вдруг получилось. Но тут нужно было чувство меры, но мера – это такое растяжимое понятие. Один раз Саша провёл приём и у противника разъединились суставные поверхности колена. «А ничего, Сань, это болевой приём, бывает, ты правильно его провёл, технически грамотно», – вот что сказал тогда тренер. Саша видел, что партнёру очень больно, переживал, но тут не барышни кисейные, тут бойцы. Всё правильно. Он и сам потом даже не мог сосчитать собственные травмы. Порванные мышцы и сухожилия он даже и не помнил. На обоих коленях были удалены мениски, пару раз он перенёс сотрясение мозга, выбивал большой палец на руке, повредил запястье. Но это было в прошлом. Саша перешёл в карате, которого как бы не существовало. Инструктора преследовались как гомосексуалисты или спекулянты. Считалось, что это не спорт, а убийство, и его распространение наплодит хулиганов. В начале 90-х так, к сожалению, и случилось. Однако в КГБ не дураки сидели, сотрудников стали негласно обучать. Андропов сам подписал приказ о внедрении карате в систему комитета. На приказе был гриф «совершенно секретно». И опять Саше повезло: его послали на Кубу изучать «оперативное карате», под руководством кубинского мастера Рауля Рисо. 78 год, их всего-то было 30 человек. В школе готовили спецназ для службы в Анголе и Ни-

карагуа. Вот это была работа! Учили убивать без оружия. Он – офицер КГБ и ему положено по долгу службы, а вот правильно, что другим этого всего уметь не нужно. Что ж, коричневый пояс – это щекотало Сашино самолюбие. Его из группы получили только пять человек. Саша сам собою любовался. Пик формы и всё впереди!

Он потом несколько раз был на Кубе, выучился немного по-испански, полюбил сигары и трубки. Как же Саше там нравилось! Режим был довольно свободным. Вечером они с ребятами сидели на террасах кафе, цедили через соломку мохито и дайкири. Никакой грубой водки и тёмного тяжелого опьянения. Музыка, загорелые девушки в коротких светлых сарафанах. Девушки на него призывно смотрели, но только он не смел ничего себе позволить. Ставки были слишком высоки. Так бы и жил в Гаване, но в Москве его ждали дела.

Несколько раз Саша побывал в Японии. Там вот расслабиться не получалось, всё было слишком серьёзно. Японцы вообще серьёзный народ, Саша так и не понял, понимают ли они вообще шутки. Да кто они-то? Те японцы, которых Саша знал, были сенсеи, которые научили его, что недостаточно только уметь бить, бой – это искусство. Он не шкуру в бою должен защищать, а мораль, справедливость и честь. Тренер – это учитель, послушание ему беспрекословно. Саша с наслаждением выучил массу экзотических слов: дже-синдо, дзесинкан, тентайтенхо, сенчинсугикобо, хапоно ка-

та... пинананы и найфанчины. Катыв-позы: кенчикоате но ката, ката Эйленхо, Бо-Но ката, Ананку но ката, Вашу, Шинто, кайшикен. У каждой каты свой номер. Саша мог бы говорить об этом часами, да только было особо не с кем.

Сейчас после увольнения из органов он и сам не знал, о чём ему было приятнее вспоминать – об оперативной работе или о боях. Теперь ему казалось, что бои в его жизни сыграли большую роль. А что, Саше было чем гордиться: обладатель 4 дана дзюсимон шорин рю и окинава годсую. Для непосвящённых это непонятные слова, но для тех, кто понимает... это звучит очень серьёзно. Когда Саша ещё служил, им не разрешали участвовать в открытых соревнованиях, для КГБ – карате не спорт, а сотрудники – не спортсмены. Да их и нельзя было выпустить, один раз попробовали на внутренних соревнованиях Динамо, но ужаснулись неумолимой статистике: на 119 участников пришлось 101 обращение к врачу, 52 нокдаунов и 11 глубоких нокаутов. Кому нужны были эти гладиаторские бои с таким исходом. Саша не знал, что делать. Ему хотелось учить других тому, что он умеет, но карате попытались запретить. Инструкторы открывали подпольные секции, стали работать каскадёрами. Саша до поры молчал, он знал, что бывшее начальство его просто посадит, учитывая его опалу. При этом ему было известно, что некоторые бывшие сотрудники и ногтя его не стоящие зарабатывают в подпольных секциях очень приличные деньги.

Потом запрет был снят, и Саша наконец стал тренером.

Его стали повышать в звании, но это было ещё до увольнения. На пенсию он вышел полковником, хотя не считал, что это справедливо, хотел «большую» звезду и её отсутствие на парадном мундире, который Саша надевал раз в году на День чекиста, продолжало его злить, родная «контора» обошлась с ним несправедливо.

Тренировал он мастеров спорта, не ниже. Тогда ещё Саша сам выходил на татами. Приятное ощущение неуязвимости в толпе, но он не имел права применять свои навыки против обычного человека, он и не собирался, но всё-таки один раз пришлось это сделать.

На Манежной площади он оказался случайно. Ходил с женой в магазин «Подарки», а потом забрели на какой-то митинг. Кажется, это был День города при Ельцине. На площади толпились люди, с импровизированных эстрад пели, то здесь, то там виднелись милиционеры, и опытный Сашин взгляд отметил кое-где дежурных штатных сотрудников Комитета. Послышались крики, громкая ругань, боковым зрением Саша увидел клубок дерущихся тел. Он стоял совсем близко от чужой потасовки. Жена стала тянуть его за рукав, но Саша подошёл ближе, схватил за плечо коренастого та-туированного парня, который с остервенением был своими коваными ботинками кого-то на земле:

– Парни, прекратите, как вам не стыдно. У людей праздник. Что вы не поделили?

– Эй, дядя. Ты что, тоже захотел? Нарываешься? Иди сво-

ей дорогой, пока цел. Это наши дела, пошёл вон, а то схлопочешь.

– Не надо, парень, так со мной разговаривать. Никогда не поступай опрометчиво.

– Что? Иди ты х... Не лезь к нам. В последний раз говорю. Давай по-хорошему, пока я добрый.

– Я сейчас милицию позову. Вы нарушаете порядок.

Саша стал оглядываться в поисках милиционеров, но странным образом все они куда-то подевались. Драка разгоралась. Чёрт знает что. В этот момент парень выкрутил Саше руку, и тогда уже больше не рассуждая, не стараясь усовершенствовать противника, Саша провёл молниеносный приём, у парня сразу хрустнул плечевой сустав, он дико заорал от боли. «Боже, что я делаю? Будут неприятности». – «Саш, не надо, пошли быстрее отсюда!» – громко кричала жена. Парни, человек в общей сложности десять, стали сужать вокруг Саши круг. Мгновенный выпад и ближний парень провёл против Саши не очень правильный, низковатый Ёко, удар ребром стопы. Саша среагировал на автомате: перенёс вес тела назади стоящую ногу, и Ёко не достиг цели. Нападающий даже не смог удержать равновесия. Пока круг не замкнулся, Саша сделал несколько шагов назад и прислонился спиной к боку эстрады. «Они каратисты, но плохие, ещё и хулиганы, надо беречь спину». Саша встал в боевую стойку, в его арсенале были десятки болевых приёмов, но разве сможет он соразмерить свою технику с техникой этих идиотов. Чуть не тот

угол наклона, не та глубина и он их убьёт. Двоих-троих точно успеет, и тогда прощай карьера. Никто не встанет на его защиту, это нормально. Контора не прикроет, нечего на это рассчитывать. «Саша, пойдем...» – жена тоже всё понимала. «Оставь ты это дерьмо. Подумай о нас, Саш». Саша, как ему казалось, легонько ударил высокого чернявого парня в цепях и наколках, потом ещё другого, этого гораздо сильнее, потому что в руке у него он увидел нож. Оба лежали на земле. Надо выбираться. Вокруг них толпа поредела, люди испугались. Черт, испугались его. И что полез? Не дай бог на службе узнают! Им не докажешь, что им угрожали, он полез... Не имел права, а полез. Идиот. Жена тащила его за руку к переходу, Саша послушно пошёл за ней, и обернувшись увидел, что вокруг лежащих на земле парнях опять стянулся народ и подошли дежурные оперативники. Спускаясь в переход, Саша боялся услышать: «Гражданин, гражданин, остановитесь, предъявите документы», – но никто их не остановил. В вагоне он полностью расслабился. И что на него нашло. Он был не на службе, удостоверения у него с собой не было, да даже если бы и было, то что? Он не имел права применять свои профессиональные навыки вне рамок спецоперации. Сейчас бы составляли протокол, а он бы сидел в наручниках в автобусе. Ужас.

Такая ситуация сложилась с Сашей только раз в жизни и оставила самые неприятные воспоминания. Карате сделало его смелым, уверенным в себе, он умел делать то, что прак-

тически никто, кроме нескольких десятков товарищей, делать не умел, это было приятно. Не стал он инженером, что ж, инженеров тысячи, а таких как он несколько десятков на планету. Саше было приятно так думать. А ещё на его карате ловились женщины. Они видели его на татами. Да куда бы они от него делись? Координированный, твёрдое пропорциональное тело, прыгучесть мячика, растяжка, как у танцора, молниеносная звериная реакция. Вот какой он тогда был.

С женщинами у него вообще-то всё началось поздно, после двадцати. Всё-таки его воспитали в строгости, и Саша очень долго боялся не понравиться родителям, разочаровать их. Он рос романтическим юношей, мечтал о любви, да о любви, а не просто о сексе. Ему даже само слово «секс» казалось неправильным, каким-то грязным. Он понимал, что несовременен, втайне гордился своим рыцарством, но собственная неопытность тяготила его, начала казаться стыдной. Он понимал, что женщины – это потрясающее приключение, без которого нельзя обойтись, нельзя жить. Тем более, что его развитое спортивное сильное тело требовало своего. Саша хотел близости с женщиной, ждал её, но жизнь его была уже настолько упорядочена, что случай не представлялся.

В июле Саша отпраздновал двадцатилетие, а в августе попал в Сочи, где поселился у друга из института, денег ни на какие путёвки не было. Вот там он и познакомился с тёткой, он её потом так мысленно и называл, намного старше, мо-

жет, лет на двадцать. Саша несколько раз приходил к ней в Дом отдыха, где они украдкой, в отсутствии соседки, предавались любви на узкой скрипучей кровати с панцирной сеткой. Тётка висла на нём, пыталась уговорить его ходить с ней на пляж, вечером в кафе, но Саша отговаривался, показываясь с ней на людях ему особо не хотелось, разница в возрасте была слишком очевидной. Потом она уезжала, и он проводил её на вокзал, донёс чемодан до перрона. В Самаре тётку встречал муж, фотографии которого она Саше показывала. Никто никого не обманывал: Саша для тётки был курортным романом, а она для него пробой пера. Проба пошла Саше на пользу, он как-то успокоился. Зимой этого же 71 года он попал с травмой в больницу и там познакомился со своей будущей женой. Его ровесница, стройная яркая брюнетка, немного экзотичная, совершенно неславянского типа. Саша тогда ещё не знал, что ему такие и будут нравиться. Она стала считаться его невестой, провожала в армию, дождалась, в 72-м у них родился сын Денис. Саша женился не потому что она залетела, а потому, что любил. Когда он привёл свою девушку знакомиться с родителями, пришла и её мать. Он помнил тот вечер: бутылка водки, винегрет, колбаса, они принесли торт. Будущая тёща судорожно схватила рюмку, и они все увидели, как у неё тряслись руки. Она почти не ела. Типичное поведение алкоголика. К концу вечера всё стало совсем плохо, и когда Саша, проводив свою будущую жену до метро, вернулся домой, родители принялись отговаривать от

женитьбы. Мама говорила, что надо подождать, а папа всё повторял, что она алкоголичка. Саша видел, но значения этому не придавал. Он же не на маме женился, а на дочке. Жить они пошли к её родителям, так как свои дали ему понять, что у них не получится, чтобы Саша даже не рассчитывал. Ну, что ж, Саша стал жить с её матерью и отчимом. Счастлив он был недолго. Марина напивалась пивом, которое отчим приносил из ларька в большом бидоне. На Сашины просьбы не пить, Марина отвечала, что она – кормящая мать, а пиво – первое средство для молока. Мама была права: жена любила выпить, быстро пьянела и делалась неприятной. Саша старался не обращать внимания. Марина была красива, на неё оглядывались мужчины. Но это было на улице, а в компании друзей он её не водил, не мог контролировать, сколько она пила. Маленький сын всё чаще и чаще проводил время у его родителей, которые печально на него смотрели, но ни разу не вспомнили о своём «мы тебе говорили». Они, конечно, обо всём догадались, но молчали. Маленького Дениса с ясельного возраста отдавали на пятидневку. Саша мучился, что редко видит сына, что ему плохо в яслях, но Марине это было, похоже, всё равно. Она стала куда-то исчезать, не ночевала дома. В 76 году Саша понял, что с него хватит. Перед этим он с большим трудом и унижениями определил жену на лечение, но она приехала домой буквально через пару дней, пьяная и дурно пахнущая. Саша ударил её и в тот же вечер ушёл. Он ехал на метро к родителям и обдумывал, как бы

ему от Марины избавиться, но оставить за собой сына. Это было нелегко, так как предусматривало лишение её по суду материнства. Пришлось докладывать о своих семейных проблемах на службе. Было стыдно, но выхода Саша не видел. Контора и помогла ему всё решить в свою пользу. Достали справки, свидетельские показания, экспертные заключения, Марину лишили родительских прав, на суде она плакала. Саша испытывал к ней гадливое чувство и совершенно алкашку не жалел. Он похудел, почернел, измотал себе все нервы, но Денис стал жить с его родителями, ходил в английскую школу, из которой его пришлось вскоре забрать: не потянул. Никаких отношений Саша с бывшей женой не поддерживал. Потом, лет через десять, он узнал от сына, что она умерла. От жизни с Мариной у него остались такие горькие, тяжкие воспоминания, что он даже на похороны не пошёл. Она давно уже была для него чужим и крайне неприятным человеком. А с Денисом он всегда страшно мучился. От армии он его спасать не стал, не счёл нужным. Денис служил в Уссурийске, женился там на удэгейке, что Сашу раздражало, хотя он и не любил себе в этом мелком расизме признаваться. Денис какое-то время прослужил сверхсрочником, что его, по Сашиному мнению, никуда не продвигало. В детстве он предлагал ему Суворовское, но Денис категорически отказывался. Сам устроился слесарем в свой же ЖЭК. Саша боялся только одного, как бы сын не спился. Слесарская должность казалась Саше неприемлемой, и он настоял, чтобы Де-

нис пошёл служить в милицию. Вот он до сих пор и служил в ментовке, дослужившись аж до сержанта. Саша злился, негодовал, удивлялся, что парню ничего не надо. Устроил его в Институт МВД в Питер, но Денис учёбу быстро бросил. Да что про него говорить: неудачник, позор семьи, хотя... какой семьи? Это он сам и виноват, связался с алкашкой, будь она проклята, а ведь родители ему говорили. Сын был Сашиной болью, его было не за что уважать, а что это за мужчина, которого нельзя уважать! Впрочем, что теперь говорить. Хоть есть внучка Настя, большая уже девка, биатлонистка. Саша сам её учил стрелять, водил в тир. Девчонка закончила школу, Саша сразу предложил ей Академию ФСБ... не захотела, в МИФИ... не захотела, а ведь он уже нажал на нужные рычаги, вот стыд какой, но что можно сделать. Нет, и старшей внучкой Саша не мог гордиться: вот стала она кандидатом в мастера, а дальше? А дальше... всё бросила, спорт разонравился. Ну как так можно?

Жену Нину ему бог послал. Какое счастье, что она у него есть. Красивая, умная, спокойная, тоже сотрудница, во всем его понимающая. А всё у него с Ниной чуть не сорвалось. Приехал он в конце 70-х в Махачкалу на очередные массовые беспорядки, а там... девушка, подруга друзей, красавица-лезгинка. Они сидели одни на террасе, Саша осмелел, брал её за руку и шептал: «Ханум, только скажи, что ты хочешь, я всё для тебя сделаю». Откуда-то это «Ханум» вылезло? Сашина служба уже так давно была связана с Кавказом,

что он, видя все пороки и болезненные проблемы этого края, научился любить его. У России не могло быть таких красивых страстей, честности, мужественности, а там всё это было, ничем не замутнённое. Мужчины были смелыми бойцами, прямыми, готовыми на всё, чтобы спасти честь своего клана, женщины были нежными и спокойными, созданными, чтобы быть женой и матерью. А больше им было ничего не надо, и хорошо, что так... Саша смотрел на лезгинку, её глаза блестели, ближе подвинуться она не решалась. За руку брать её, скорее всего, тоже не следовало. Саша чувствовал, что за зашторенными окнами никто не спит, друзья доверили ему девушку, дочь близких знакомых, он – друг, они ему доверяют, но... зачем он с ней там в темноте сидит. Нельзя, нехорошо. Саша и сам чувствовал, что зря он так себя ведёт, у них другая культура, но он уже завёлся, девушка ему нравилась. Они разошлись по своим спальням, и засыпая Саша решил на ней жениться. А Нина? А что Нина? Не могла она сравниться с его лезгинкой, с которой его не ждала бы московская обыденность. Саша лежал без сна, в его голове не было конкретных планов на будущее, а была только неистовая сжигающая страсть, которая, он чувствовал, принесёт ему горе, но совладать с ней он не мог и не хотел. Наутро хозяева, пряча глаза, попросили его как можно быстрее уехать...

– У нас так не принято, Саша. Уезжай!

– Как у вас не принято? Почему я должен уезжать?

– Ты обидел девушку... так нельзя. Мы не хотим тебе неприятностей.

– Как я её обидел? Что я ей сделал? Я женюсь на ней.

– Саша, не надо. У нас не так, как у вас. Пожалуйста.

– Я пойду к её отцу. Я знаю, как принято.

– Нет, никуда не ходи. Её за тебя не отдадут. Это уважаемая семья, ты их обидел.

– Да, ладно. Не обижал я их.

– Саша, мы не хотели тебе говорить, но пойми, если ты не уедешь, её братья тебя просто убьют. Мы просили их тебя отпустить, ты наш друг. Мы поклялись, что ты уедешь.

– Да, никто меня не убьёт. Глупости.

– Саша, тебя найдут зарезанным и расследование ничего не даст. Уезжай в Москву.

Саша как-то внезапно понял, что они не шутят. Не стоит рисковать, ничего у него не выйдет. Не судьба, да может так и лучше. Ему немедленно захотелось к Нине в Москву. Нина встречала его в аэропорту, он обнял её, они поехали домой на служебной машине и всё вернулось в свою колею. Нина родила дочку Машу, и сейчас у него две внучки. Девочки его любимые, как он их называет мои «юбки». И девочки его любят, почему бы и не быть счастливым? Да, был он счастлив, был: служил, успехи в спорте, семья, но Саша никогда не мог угомониться, как он сам про себя думал и даже иногда вслух признавался, что он кобель. Чего было в этом самоопределении больше: чувства сожаления, что он плохой,

или гордости за себя неугомонного мачо, которому никакая женщина не может отказать? Саша и сам не знал.

Любовниц своих он, наверное, мог бы сосчитать, но никогда не пытался. Все они были так или иначе связаны с опорно-методическим центром боевых единоборств на Петровке, 26. Крепкие ловкие женщины-бойцы были сотрудницами, своими. Потом у него стали появляться и другие из Клуба Университета Дружбы Народов, из МГУ и из МИФИ. Его девушки не получали «пояса» по блату. Не было такого. Когда всё действительно заканчивалось, они на него не обижались, и он продолжал их тренировать. Журналистки, телеведущие... Саша ни разу не пропустил то, что само шло в руки. Один раз девушка попросила его о странной вещи, не мог бы он её... «Ну, в общем... ты понимаешь... при муже». – «Как при муже?» – «А так... я ему про тебя сказала, и он хочет, чтобы... в общем он хочет смотреть на нас». – «С нами хочет?» – «Нет, только смотреть». Чёрт, Саша не знал, что ей сказать. Как это можно? Если бы просто втроем, тогда ещё ладно, но смотреть? Дикость. Сразу представил свою Нину. От отвращения его даже передернуло, ужас! Подруга смотрела на него вопросительно. Нет, он не хочет, но сказал он совершенно другое: «Ладно, попробуем». Саша сам себе удивлялся, как-то его понесло, что-то в этом было. Если не сейчас, то никогда.

Перед свиданием он плохо спал, было беспокойно, как он вообще сможет, когда будет публика. Но смог... всё было

как бы обычно, и даже хорошо, но Саша не мог забыть, как войдя в знакомую квартиру, он увидел невысокого плотно-го мужчину, которому был представлен и даже пожал руку: «Александр, очень приятно». А потом они лежали голые на супружеской постели, Саша стоял на коленях и натягивал на себя чужую женщину, а её муж стоял за застекленной дверью и смотрел на них. При желании Саша мог даже увидеть его сквозь стекло, но он не смотрел. Да, его это возбуждало, делало сильнее, он как будто выступал на сцене. Но с другой стороны, ему было противно, он толстенького мужика прези-рал. Это презрение придавало ему энергии: «Вот, вот, смот-ри, как это делается, как я деру твою жену. Эх, ты, слабак, урод, извращенец». Он тогда нарочно встал во весь рост, по-вернувшись передом к мужу. Потом всё кончилось, но ещё пару лет Саша был с её подругой: спокойно, эстетично, без вульгарности, с удовольствием, но без ажиотажа.

А потом их с Ниной подставили, пришлось уйти со служ-бы. В Сашиной жизни остался один спорт. А тут ещё дочка Машка вышла замуж. Приятное событие, но как Саша хотел бы, чтобы она вышла замуж за другого человека, а не за этого Валдиса, латыша из Риги. Мама у него, правда, русская, хотя в их культуре мама не имеет никакого значения. В конце 90-х дочь перебралась в Ригу. Получилось, что Машка с детьми живёт за границей. Для того чтобы туда ездить, нужна шен-генская виза. Паспортный и таможенный контроль в поезде: предъявите паспорта, откройте чемодан, какова цель поезд-

ки? А ведь ещё недавно Рига была советским городом, а сейчас... Саша не любил обо всём этом думать. Распад Союза – катастрофа, просрали великую страну, ну кому в ней было плохо? Кого гнобили? Латышей? Наладили им промышленность, атомные станции, оборонные предприятия, вся страна – рынок сбыта их сельскохозяйственной продукции! Кто их обижал? Кто? Принесли могучую русскую культуру, язык никто не запрещал, театры латышские. Что им надо? Откуда ненависть к русским? Что им русские сделали? И вообще в Риге большинство населения – русские, а их теперь «к ногтю»? За что? Такая неприязнь, злоба, никто не хочет говорить по-русски, русские – оккупанты. А дочь и внуки там живут, и главное, не замечают ненависти, у них всё хорошо. А как может быть хорошо? Внука думает, что русские – оккупанты. Как же так? Это ведь неправда. Наташка, внучка, приезжает в Москву и надо её везде водить: музей советской армии, кремль, усадьбы... Он ей рассказывал о русской истории, о войне, и она вроде верит, а скорее всего просто делает вид, не хочет с ним связываться. Ты, говорит, дедушка, слишком много русский телевизор, Первый канал смотришь... Ничего себе! Для зятка он, конечно, «гэбист» и больше ничего. Понимал бы чего!

А Саша действительно смотрел только Первый канал. Подробные новости дня с хорошей картинкой и внятными комментариями. Иногда ему приходило в голову, что кое-что там преувеличено, но в целом так всё и было. Путин у вла-

сти его не радовал. Окружил себя товарищами, бывшими сотрудниками, и они мёртвой хваткой вцепились в полезные ископаемые, целые отрасли, которые раньше, как Саша считал, принадлежали народу. Но не Путин и его друзья это устроили, это Ельцин с компанией разворовали страну, создали олигархат, который всё присвоил, гонит бешеные деньги за рубеж, покупает миллионные особняки, создает воровские банки. Страна живёт не по законам, а по понятиям, это даже не скрывается. Но Путин, хоть явно и посредственный сотрудник, был всё-таки свой, сильный мужик, настоящий, без фуфла. Его крепкая рука – это как раз то, что сейчас стране нужно. Демократия нашему народу не подходит, уже попробовали, ничего не вышло. И вообще, такая была страна, настоящая держава. Современные конфликты Саша видел просто: две мировые державы Россия и Америка схлестнулись в смертельной схватке: кто кого. Тут все средства хороши, не надо никакого чистоплюйства. Мировое право – это фикция для идиотов, прав тот, что сильнее. Вот и надо быть сильнее, и тогда все эти западные демократы встанут на задние лапы перед нашей мощью, начнут учитывать наши интересы, остальное всё гнилое, чуждое, второстепенное. В этом Путин прав, но тут у Саши был раздрай. Он слишком хорошо помнил распад конторы, когда сотрудников стало можно купить, целое 7-е управление стало продавать свои услуги богатым. Остальные управления стали манипулировать информацией, пилили бюджет, опе-

рации проводились непрофессионально. Взять хоть Беслан. Говорили, что там спецоперацией руководил сам Путин. Да что он умел-то? Этот бывший директор Дома дружбы в ГДР? Тоже мне разведчик! Полез... Оперативно-боевые группы Центра Специального Назначения ФСБ заняли позиции, но забаррикадированные террористами с помощью «живых щитов» из заложников у окон ещё около часа не давали силовикам приступить к штурму. Был отдан приказ применить танки и огнемёты, и именно осколочно-фугасные снаряды, и пожар послужил причиной смерти большого числа заложников. Погибло 334 человека, из них 186 школьников. Путин сам отдал такой приказ? Провал, позорный провал. Саша уже давно не был сотрудником, но ему было стыдно. Разве он сам бы такое допустил? А в Норд-Осте более половины заложников погибли от примененного спецслужбами газа. Позор, опять позор. Машины не привозили в больницы живых, провозили мертвых в морги. Информация об антидоте лежала в каком-то сейфе под грифом «совершенно секретно». Быстрее надо было всё делать, но это не ошибка ребят-спецназовцев, они сработали правильно, это начальство непрофессиональное... в целом получился провал. Саша не любил слушать по телевизору о новых терактах, которые не предотвратили, а могли бы, были просто обязаны.

Что происходит? У него была целая сеть внедренных осведомителей, а сейчас агентов никто не вербует? Как же они работают? Саша был уверен, что всё деградирует, хотя ско-

рее всего просто несколько изменилась концепция спецслужб: они должны обеспечить политическую стабильность, а вовсе не безопасность граждан. Террористы политической стабильности не угрожают. О чём волноваться? Политика стала казаться Саше всё более грязной, русский агрессивный национализм он совсем не принимал. Слишком Саше нравился Кавказ, он просто физически не мог назвать гордых кавказцев «чурками». Про то, как он реагировал на жену Дениса, он давно забыл. Семья дочери в Юрмале... Прекрасный бревенчатый дом с пятью спальнями. У зятя успешный бизнес, к которому подключились дочь и жена: логистическая фирма по импорту в Россию продуктов питания из Латвии. Саша в логистике никакого участия не принимал, само сотрудничество с Латвией одобрял, да и деньги фирма зарабатывала немалые, но начались антисанкции и доходы резко упали, все громко ругали Путина, а что ему было делать? Правильно Путин поступил, введя антисанкции. Саша искренне так думал. Но у дочери и её семьи всё упиралось не только в деньги, которых стало меньше, дело было в особой злобе против русских дураков, которые поддерживали упрямо с наполеоновскими комплексами. В Латвии, которая гнобила всё русское, восхваляли западные ценности, при этом по улицам Риги прошёл марш эсэсовцев, бывших и современных. И никто не возмущался, никто. Этого Саша не понимал. Отец воевал против фашистов в штрафбате, а сейчас враги маршируют? «Папа, ты очень многого не понима-

ешь», – говорила дочь. Да что тут понимать. Латыши сейчас враги, все стали врагами, да только как так можно говорить, среди врагов живёт его семья.

Да если бы только политика Сашу огорчала! У него начались серьёзные проблемы со здоровьем. В последнее время его детская астма почему-то вернулась и уже не отпускала. Приступы кашля сотрясали всё тело, Саша задыхался и покрывался холодным потом. На тренировках его терзала одышка, что он только не делал, но кашель бил его всё сильнее, не давал уснуть, мешал разговаривать, стал невыносим. Кто-то из друзей посоветовал ехать в Удмуртию, там якобы есть специальная клиника народных целителей, которые лечат местными лекарственными растениями, но, главное, применяют специальное дыхание по методу Бутейко. Саша сразу уверовал в новую народную методику и торопил Нину с покупкой билетов. Нина обещала поехать с ним в посёлок Якшур-Бодья неподалеку от Ижевска, но заручилась Сашиним обещанием сходить сначала в Европейский медицинский центр и послушать, что там скажет врач. Диагноз там, кстати, поставили довольно быстро: карцинома в правом бронхе. Что такое карцинома Саша не знал, но понял, что у него никакая не астма, а рак лёгких. Духом он пал как-то сразу. Сидел в халате в кресле в своей комнате, кашляя и захлебываясь в мокроте. В Удмуртию они, конечно, не поехали. Надо было что-то делать. Нина из своей комнаты звонила дочери, они подолгу о чём-то разговаривали, потом же-

на вешала трубку, звонила кому-то ещё и снова перезванивала Маше. Саше она ни о чём не рассказывала, а он не спрашивал. Несколько раз они ходили к разным врачам, сдавали анализы, потом снова шли на приём, врач подробно что-то объяснял, но Саша почти всё пропускал мимо ушей. Он снова стал ощущать себя ребёнком, который приходит к врачу с мамой. Нина задавала врачам вопросы, переспрашивала, ей выдавали бумаги, снимки, разные выписки. Сашу это как будто не касалось. Ему было плохо, но он всё равно не верил, что умрёт. Казалось, что можно было ещё что-то сделать. Он в принципе был готов лечиться, но лечение от него не зависело, от него ничего уже не зависело, всё должны были решать другие.

Нина объявила, что они поедут лечиться за границу, в Германию или Израиль. Саше было всё равно. Он только вслух беспокоился, что это дорого, что, мол, не надо тратить на него деньги, что теперь уж всё равно, но он прекрасно знал, что ни жена, ни дочь его возражения не примут. Это он про деньги так просто говорил. Всё завертелось быстро, совсем скоро они с Ниной вылетели в Израиль. Там это называлось диким термином «медицинский туризм». Но в чём-то это было похоже на туризм. В аэропорту их встречал медицинский гид Андрей. Он везде с ними ходил, переводил, заселил в гостиницу, всё показал, со всеми договорился. Саша спрашивал, сколько будет стоить лечение. «Какая тебе разница?» – ответила ему Нина. Саша узнал, что за лечение за-

платили Маша с зятем. Ему стало горько: латыш платит за его лечение, а сам он, всю жизнь прослуживший в органах на благо своей страны, заплатить ни за что не может. Почему, чтобы лечиться надо было уезжать в Израиль? Получалось, что отечественной медицине он не доверял, а евреи ему помогают. Как же так? Саша не был антисемитом. Он помнил, что ещё на Курсах в Минске один из преподавателей каждое занятие сводил к долгим рассуждениям о лживости и вероломстве евреев. Про «израильских агрессоров» он ещё мог понять, но то, что он слышал в классе, было прямыми антисемитскими выпадами, так говорили о людях, а не о «военщине». В классе стояла тишина, преподавателя никто конечно не прерывал, Саша даже чувствовал, что все эти речи, полные злобы, курсанты одобряли, и получалось, что он составлял исключение. Их бывшие соседки, толстая «курочка» Фира с её вечным вареньем, Алла-скрипачка, которая так по-доброму учила его маленького играть, поправляла скрипочку у него на шее, ставила пальцы, считала ему ритм... Он их не забыл, хорошие женщины. Были интересы государства, и правильно, что отъезжантов в 70-е годы гнобили. А что теперь? А теперь дети тех, кто в 70-е уехал, стали врачами и лечили его, старались, успокаивали, обещали, что всё будет хорошо. Конечно, они не знали, что он был для их родителей «кровавым гэбистом», а ведь был... Он тогда как служил в «пятёрке», стоял на страже интересов державы, на которые евреи плевали. Ну, действительно, эта нация пере-

кати поле, ничего им недорого, это не их земля, им слишком легко уехать, взяли, снялись с места и служат другим. Он бы так не смог.

Нина из Тель-Авива быстро уехала... бизнес. Саша остался один в чужом городе. Он ходил сначала на химиотерапию, потом на облучение. Сил было мало, он очень быстро уставал. По вечерам в одиночестве слушал «Эхо Москвы», где выступала сплошь «пятая колонна». Не надо было так называть людей. Их немного, они не шагают в ногу, ну что ж... Что-то он помягчел. Они же ведут себя как предатели, всё им в стране немило. И всё-таки что-то в чуждых, злобных мнениях либералов было, что-то частично правильное, справедливое, которое от этого становилось ещё более опасным для народа, который сплотился вокруг лидера. Куда хотят завести страну эти люди? Понятно куда. Они хотят сделать её придатком Запада, слабым и зависимым. Вот что они хотят. Саша с досадой выключал «Эхо», ложился в постель и старался уснуть. Спать он почти не мог, тревога за себя, за семью, за страну его не покидала. Медленным шагом, часто присаживаясь на лавочку, он гулял у моря, наблюдал за людьми. Все весёлые, вежливые, но какие-то слишком разбитные, совершенно не озлобленные, не зажатые. Южане: галдят, машут руками, показывают куда-то пальцами, громко разговаривают. Саше было плохо, одиноко. Его окружали милые в сущности люди, но бесконечно чужие. Сплошные евреи! Куда он попал, о боже.

В Москве ему стало хуже, чем до лечения. Отказывало сердце, одышка стала настолько сильной, что он не мог и шагу сделать. Поместили в ведомственную больницу для ветеранов КГБ, стали возить в инвалидном кресле. Спал Саша урывками, сидя, дыхание со свистом вырывалось из его груди. Он уже решил, что умирает, но врачи ему объяснили, что это состояние вызвано облучением, прописали большие дозы стероидов, от которых он страшно поправился. После больницы, когда Саше стало чуть получше, Нина отвезла его на работу, вокруг... «о, Александр Иванович... Александр Иванович...», он вышел в зал, пожимал чьи-то руки, попытался руководить тренировкой. На него смотрели с опасливой жалостью. В этом пузатом пожилом старике, с одутловатым серым лицом, одышкой, с отросшей седой бородой они с трудом узнавали своего энергичного, подтянутого, всегда полного нетерпеливого энтузиазма Александра Ивановича. Он снова был Александром Ивановичем. Вроде так. Саша допускал, что большинство ребят предпочло бы, чтобы он на тренировках не появлялся. Показать он ничего не мог, делал замечания сбивчиво, спотыкался на каждом слове. Ему не хватало воздуха, на него было неприятно и страшно смотреть. Саша видел себя как бы со стороны. Тренировке он не помогал, скорее наоборот. Осенью их ждали ответственные соревнования, на которые он с ними поехать уже не сможет. Все желали ему всего самого хорошего, но Саша видел, что его уже вычеркнули из своих рядов. Он, наверное, тоже бы

так поступил, но всё равно было обидно.

Теперь у него в жизни оставалась только семья, но он замечал, что жена ему не всё говорит, у них с дочерью какие-то секреты. Он сам был в этом виноват. Нечего было в маленького мальчика превращаться, но так уж вышло. По телевизору Саша смотрел только спортивные передачи. Новости на Первом он смотрел реже. «Эхо Москвы» с их «Особым мнением» он мог бы найти в интернете, но не искал, не хотел. Иногда Нина напоминала ему, что надо ехать к врачу, везла его туда сама на машине, а Саша сидел нахохлившись на пассажирском сидении и смотрел в окно. По улицам текла толпа, все спешили, он понимал, что уже никогда не сможет быстро ходить, красивые женщины все ещё обращали на себя его взгляд, но Саша знал, что тут наступил полный финиш: ни одной, никогда больше... Жена относилась к нему идеально, как хорошо, что она с ним, но это он от неё зависит, а не она – от него. Дочь живёт в Латвии, воспитывая внука «не так». Ну, что он мог сделать? Ничего. Да и не надо сейчас уже ничего делать. Все. Пора успокоиться и доживать в мире с собой. Саша старается, но у него не так уж хорошо это получается. Да, какая разница. Главное, ещё пожить, не умирать как можно дольше. Может быть, его даже и вывели, как обещали. Полковнику КГБ в отставке Александру Ивановичу Чугунову, бывшему мальчишке «чуги» очень хотелось в это верить.

Княжна N

Наташа сидела в машине на большой стоянке городской плазы. Рядом за рулём сидел её муж Эдик. Машину они выключили, шум двигателя стал уже невыносим. Слава богу, было не жарко, Наташа со своей стороны немного приоткрыла дверь, в которую дул свежий ветерок. Муж молчал, что-то проверяя в своём мобильном телефоне. Можно было бы спросить, что он делает, но было лень, да и неинтересно. Они уже прогулялись по магазинам. Просто так, чтобы убить время. Зашли в маленькое кафе, выпили кофе. Больше делать было нечего. Надо было ждать, так как домой им возвращаться было пока рано, там шёл показ. Дом несколько дней назад был выставлен на продажу и сейчас агент водил по нему каких-то чужих людей, которые садились на их диваны, открывали створки кухонных шкафов и холодильника. Наташе было всё равно, лишь ты дом быстрее продан, и тогда они наконец уедут жить во Флориду. Она перестанет работать.

С работой всё было сложно. С одной стороны, Наташа работать любила, день пробегал быстро, она собирала свои вещи, ехала из центра города на метро и там на небольшом паркинге её всегда ждал на машине муж. Возвращались домой, ужинали, смотрели телевизор: каждый свой, в разных комнатах. На следующий день всё повторялось, наступали

выходные, и тогда Наташа с неохотой занималась хозяйством и опять смотрела телевизор. Всё бы хорошо, но было ещё и с «другой стороны»: работа с каждым годом становилась всё тяжелее, целый день проведённый у компьютера вызывал головные боли. Наташа напрягалась, и иногда в конце рабочего дня у неё от усталости выключалось цветное зрение. Она начинала всё видеть только чёрно-белым. Муж не работал, она зарабатывала деньги, особенно важна была медицинская страховка для них обоих, в их возрасте без неё было не обойтись.

В это лето Наташа решила ставить точку. Эдику исполнилось 65, он мог получать государственную страховку, они её недавно оформили, и теперь дело было за продажей дома. Хотя дом стоял на продаже совсем недавно, у Наташи появилось чемоданное настроение. Она была взбудоражена и полна приятных предчувствий. Скоро они окажутся в небольшом уютном домике недалеко от океана. Во дворе у них растёт маленькая пальма. Она перестанет спешить, напрягаться, нервничать, что она самая старая в группе, и сотрудники заметят её некомпетентность в работе. Пока этого не случилось, но Наташа была готова к тому, что вдруг случится. Что-то она сильно напортачит, заказчик будет недоволен, и всё случится по её вине. И как потом расхлебывать, а вдруг она не сможет. Наташа была квалифицирована, но делала всё медленно, с большими усилиями, чем молодые парни, выпускники американских университетов. У них-то никаких

комплексов не было, работа волновала их не так уж сильно, и Наташины каждодневные мучения они просто не замечали: ну сидит эта пожилая русская тётенька и сидит, им-то что? Они ничего против неё не имели и совершенно не ждали, что она уйдет, хотя если и уйдет, то это им тоже будет всё равно. Она была как их бабушка, бабушка ничего такого делать не умела, и поэтому Natalya была молодец.

Конечно, на пенсии ей придётся сидеть целый день на одноэтажном пяточке с Эдиком, который давно ничего не делал. Он что-то читал по-русски на компьютере, включённый телевизор тоже по-русски служил ему звуковым фоном. Эдику было тоскливо в его привычном и томящем одиночестве, а теперь она тоже будет так жить, им будет одиноко вдвоём, и она скорее всего сто раз вспомнит работу, ответственность, свои «скрипты», как она поздними вечерами в условиях минимального компьютерного трафика «ранала» свои программы, чтобы проверить их эффективность. Наташа так и говорила «ранала», от глагола run. Как это сказать по-русски ей даже в голову не приходило. Когда программа работала правильно, клиенты были довольны, Наташа поздравляла себя с маленькой победой и гордилась собой, а теперь чем она будет гордиться? Что хоть как-то раскрасит её жизнь? Какие у них будут новости? Ответов на эти вопросы не было, глупо было их себе задавать: ничего не будет, кроме монотонной скучной жизни, финишной прямой к смерти. Вот и жизнь почти прошла. Как же так? Иногда Наташа до сих пор

ощущала себя маленькой, так и не повзрослевшей девочкой. Прошлое виделось ей в странно ярких картинках.

Вот она в своём дворе. Тепло, но ещё не слишком жарко. То ли это конец учебного года, то ли уже каникулы. Наташа стремглав бежит от мрачного семиэтажного дома, нависающего над всем двором, мимо длинного жёлтого здания, в котором был их детский сад, к своему подъезду. Ей надо домой, и она бежит очень быстро, хотя никакой необходимости так торопиться нет. Мелькают её маленькие ступни, обутые в сандалии и белые носочки, развивается подол летнего платья в цветочки. Справа она видит площадку их детского сада за небольшим забором, а слева мелькает фигура Гали Марцоги, давней подружки, только что вышедшей на улицу. Наташа пробегает мимо Гали, ей вовсе не хочется ради неё останавливаться. Галя через пару лет умрёт от полиомиелита, единственная в их дворе. Никому об этом пока неизвестно. Наташа бежит, у неё отличное настроение для которого нет причин. Она такая лёгкая, быстрая, здоровая, молодая, у неё впереди столько ещё хорошего, целая жизнь. Она когда-нибудь умрёт, Наташа это знает, но так нескоро, что смерть кажется неправдоподобной.

Дома у неё только бабушка Лиза, мамина мама. Сколько ей тогда было лет, Наташа не знает, бабушка кажется ей старой. У неё маленькая трясущаяся голова с седыми кудельками. «Будешь, Туся, кушать?» – спрашивает бабушка. «Буду,

только не суп», – отвечает Наташа. «Не хочешь суп, а больше пока ничего нет. Как хочешь», – бабушка не настаивает. Пичкать детей у них в семье не принято. «Ладно, давай», – сдаётся Наташа. Она ест суп, скоро придут с работы родители, вернется из школы старшая сестра Таня. Папа придёт самым последним. По всей квартире раздастся его громкий голос, никого не оставляющий в покое. Наташе не нравится папин требовательный тон. Она постарается как можно быстрее уйти из кухни, чтобы не слышать за столом его голоса. Уйти, впрочем, ей будет некуда. Если только попроситься погулять. Может её и отпустят.

Иногда вместо бабушки у них дома живёт дедушка. Они оба живут в Горьком, но по очереди приезжают помочь по хозяйству. Когда бабушки с дедушкой нет, Наташе приходится ходить на продлёнку. Мама её одну дома не оставляет. Вечером Наташе дают поесть и отправляют спать. Взрослые с ней не разговаривают. Наташа, честно говоря, и сама не знает, хочется ей оставаться слушать взрослые разговоры или не так уж они её интересуют. Пожалуй, всё-таки не интересуют. Сестра Таня разговаривает с подругами по телефону, а с ней – никогда. С ней дома вообще никто не разговаривает, только по делу.

Наташа ходит на фигурное катание. Весной у них отчётный концерт по хореографии. Сколько суеты. Вся их группа собралась за сценой Клуба ВИЭМ. Наташа, как и остальные девочки, в белом коротком платье из простынного ма-

териала и чёрных чешках. Она худенькая, маленькая, ниже других девочек. Первое отделение – «класс». По периметру сцены поставлены станки и сейчас они покажут родителям все гранд батманы, плие, глisse и жете. Наташа оттягивает носок, старается, прыгает выше всех, на её кудрявых волосах мама завязала белый атласный бант. Бант немного дрожит в такт музыке. Потом зажигается свет, девочки склоняются в поклоне. Наташа видит в середине партера маму и сестру Таню. Папа не пришёл. Интересно почему, сегодня же воскресенье. Во втором отделении она с другой девочкой танцует тарантеллу. У неё маленькая красная юбочка, белая кофточка с рукавами-фонариками и чёрный бархатный жилетик со шнуровкой. На голове хитро повязана косынка. Целый костюм они соорудили. Мама не помогала, ей некогда, и она не умеет шить, это тётя Ася ей всё сделала. И ещё говорила, что ей приятно девочке помогать, а у неё мальчишки, и костюмы им не нужны. Тётя Ася, жена папиного брата, дяди Серёжи – такая хозяйственная: готовит, стирает, шьёт, да ещё в садике у гаражей на клумбах возится. В руках у Наташи бубен и она легко подпрыгивает, кружится, обходит партнёршу. Здорово. Мама и Таня ей хлопают. Все хлопают, но Наташа смотрит только на своих.

Завтра понедельник, и мама пойдёт на работу. Она участковый врач в поликлинике. Её участок совсем близко от дома: бараки, море приземистых барачков, покрашенных розовой краской. Наташа идёт в школу по этому барачному

царству. У них в классе учатся ребята из бараков, от них неприятно пахнет, и она с ними не дружит. Недавно они все бегали после школы смотреть на Грушина. Был у них такой сопливый, щуплый, незаметный мальчишка. А теперь он лежал в маленьком гробу на козлах перед одним из бараков. Было страшно, но смотреть всё равно хотелось.

Наташа почти не приглашала домой подруг. Подруг у неё было много, они менялись, но дома у неё они не бывали, кроме одной, Маши. Маша приходила днём после школы, и они в родительской спальне, используя спинку большой кровати как станок, играли в балерин. Наташа прочитала книжку об Улановой и совершенно искренне верила, что она тоже будет балериной. Подруга её слушалась и тоже делала упражнения.

А потом она начала влюбляться. Рассказывала Маше о предмете своей страсти, но толку от Маши было мало, и тогда она находила девочек, которые понимали её тонкую душу лучше. Такие девочки вовсе необязательно жили во дворе, иногда Наташа знакомилась с ними в лагере, переписывалась, делясь с ними в письмах своими романтическими порывами. Они могла пространно вспоминать море под затянутым облаками утренним небом, белый парус на горизонте или благоухание роз с каплями росы поутру. Почему-то с Машей ей о своих переживаниях говорить не хотелось. Во дворе с ними жила девочка Оля, которая как раз полностью разделяла Наташин поэтический настрой, она могла часами слушать откровения подруги, хотя сама выразить свои чув-

ства не умела. Они все слушали первые виниловые гибкие пластинки со звёздами мировой эстрады, потом вместе пели томные песни о любви. «У моря у синего моря, со мною ты рядом со мною...» И хотя Маша в их хоровом пении не участвовала, Наташа с ней дружила, девочки держались друг друга, не особенно заморачиваясь эпизодическими взаимными отдалениями. Маша читала приключения и фантастику, а Наташа почти ничего не читала, зато любила поговорить с Олей о мальчиках, поэзии и любви, которая пришла в их жизнь уже сейчас, и всегда будет в ней присутствовать. Любить и страдать, любить и страдать – вот что такое жизнь. Вряд ли Маша это понимала. Наташа в глубине души считала, что хоть подруга – хорошая девочка, с ней интересно, но они разные люди.

В девятом классе Наташин романтизм достиг апогея. Она влюблялась в артистов и певцов и раньше, но на этот раз модный певец из Белграда Марьянович стал её богом. Они с Машей пошли на его концерт в Лужники, и Наташа сломя голову бежала сверху к сцене, неловко прыгая на высоких ступеньках. Она не решилась подарить Марьяновичу свой букет, она просто стояла под сценой внизу и смотрела на худощавого мужчину средних лет. Там стояла целая толпа таких же девчонок, Марьянович наклонялся за букетами, а если девушка поднималась на сцену, даже её легонько прижимал к груди, имитируя поцелуй. Если бы он мог видеть Наташу, он увидел бы в её глазах безумный блеск обожания. Её

затуманенный бессмысленный взгляд хотел вобрать в себя любимый образ навечно. Наташа себя не контролировала.

В том же девятом классе она познакомилась с новой подругой, Линой Шейкман. Лина была способной, яркой, красивой, влюблённой в себя девочкой. Она ждала признания, восхищения, поклонения, полного понимания своей тонкой непростой личности, но взамен давала подруге высокий накал чувств, парение в эфирных эмпиреях, так далёких от школьной повседневности, что когда девочки туда воспаряли, им уже не хотелось возвращаться на грешную землю, где вызывали к доске. Маша для такой роли совершенно не подходила.

Один раз Наташа ушла вечером к Лине. Они не стали заходить к ней домой на улицу Зорге, а просто ходили от Хорошевки до самого Сокола не в силах наговориться. Было очень холодно. Мороз без снега, по почти голому асфальту мела сухая колкая позёмка. Холод пробирался им за воротник пальто, под полу, обе давно не чувствовали ног в сапогах. Пальцами было больно пошевелить, но девочки все ходили по почти пустынному тротуару, подходили к остановке 39-го автобуса, на котором Наташе давно пора было ехать домой, но что-то было недоговорено, и Наташа пропускала очередной автобус, клятвенно обещая себе, что поедет на следующем, но уходил и следующий...

Сейчас, когда с той прогулки прошло более полувека, Наташа помнила стужу, свои скрюченные пальцы в тёплых ва-

режках, шарф надвинутый на нос, гудящие от усталости ноги, но о чем они тогда с Линой разговаривали не припомнилось. Совсем. Девочки, близкие подруги приходили и уходили из её жизни, оставалась только Маша, которая ни за что свой 39-й автобус не пропустила бы.

Наташа считала себя взрослой, детские забавы типа Тарантеллы или акробатического этюда с Лидой Коняевой её давно не привлекали. В школьный эстрадный театр она бы поступила, но не решалась, считала себя неталантливой и не слишком красивой. Что бы она могла театру предложить?

Впрочем, Наташа вовсе не считала себя каким-то мало-значительным человеком, пустым местом, наоборот: в её семье была тайна, о которой знала одна Маша. Никто не подозревал, что Наташа была настоящей княжной Львовой. Ни больше ни меньше. Кое-что Наташа узнала от бабушки, но мало. Мама тоже была на эту тему неразговорчива. Однако, то, что Наташа знала, ей нравилось, даже наполняло гордостью, да и мама намекала, что было бы глупо о таких вещах рассказывать посторонним.

Наташин прапрадед был, оказывается, декабристом. Совсем молоденьким двадцатилетним офицером он стоял на Сенатской площади. Целая толпа: более восьмисот человек солдат лейб-гвардейского московского полка, плюс Гренадерский полк, Гвардейский морской экипаж, около 3000 человек... и где-то там среди них был их предок князь Львов. Наташа часто представляла себе, как это было: вот он сто-

ит перед своими солдатами, молодой, красивый, усы, чёрная короткая шинель с простыми погонами, на голове треуголка, на боку шпага. Стоят долго, он очень замёрз и устал... Князь Львов был подвергнут публичной гражданской казни, лишён дворянства и чина, а потом его сослали в Сибирь, где он прожил 50 лет, был женат на простой женщине, мама так и говорила «простой», у них был сын, прадед. Даже деду не разрешали вернуться жить в Петербурге, и он поселился в Твери, где у семьи Львовых когда-то было имение. Дед закончил Духовную семинарию, а потом юридический факультет Казанского университета. Ну да, дедушка Николай, пузатенький, глухой старичок, в серой толстовке подпоясанной тонким ремешком, был судьей. Об этом бабушка как раз Наташе рассказывала. Сама бабушка закончила Высшие женские курсы в Москве и стала учительницей математики. Жила семья в Горьком. Там и бабушка с дедушкой до сих пор жили с семьёй маминого брата. Наташа своих горьковских родственников очень любила, была бы готова у них жить до бесконечности, но папа был из Москвы, вернее из Железнодорожной, бывшей Обираловки. Про папину семью Наташа думала меньше. Прадед вроде был небогатым прибалтийским дворянином из немцев, а по женской линии... «простые» женщины.

Странным образом пионерка Наташа, росшая в СССР, осознавала своё немодное дворянство. Сначала она просто гордилась своим романтическим в чём-то революционным

происхождением, а потом гораздо позже, она стала действительно ощущать свою генетическую сословную принадлежность. Вспоминая сдержанную, строгую, малоразговорчивую, плохо сходящуюся с людьми маму, Наташа остро осознавала их с мамой и бабушкой «особливость», несмешиваемость с толпой, разборчивость, невозможность опуститься до определённого уровня, опроститься, уронить своё достоинство, поступиться каким-то твёрдым принципом, унижаться. Это даже не было высокомерием, неприятной сословной спесью, но ни мама, ни сама Наташа никогда не забывали, что они всё-таки Львовы.

Хотя... Как же мама пошла под отцовскую руку, под руку хама, постоянно её унижающего? Почему? Наверное, она его любила. Иначе Наташа не могла себе объяснить мамино молчаливое терпение, смирение перед отцовским быдловатым самодурством. Папа был плебеем, с претензиями, амбициями, но всё-таки плебеем. Горьковчанка мама так никогда и не нашла себе в Москве верных друзей, жила в одиноком моральном затворничестве, воспитывала дочек, работала, неловко принимала гостей, убирала, стирала, много читала. Во время ссор, частой оскорбительной ругани мужа, который никогда ничем не был доволен, мама не опускалась до грубостей, она просто спокойно смотрела на него близорукими глазами из-под очков и молчала, пережидая очередную бурю в стакане воды, зная, что возражениями она только усугубит его плохое настроение.

А вот Наташа с отцовским хамством смириться не могла. Маленькой она к нему ластилась, пыталась обратить на себя его внимание, завоевать любовь, но отец уделял ей и сестре очень мало времени, постоянно за что-то ругал, укорял, журил, читал мораль. Его назойливый громкий голос лез в уши, отец никогда не знал, когда нужно остановиться, оставить девочек в покое. Он кричал на жену и детей, вымещая на них свою усталость и страх перед начальством и неприятностями. С посторонними он, впрочем, был милым, умел петь, читать стихи, считал себя поэтом и художником. У них в столовой висел карандашный мамин портрет, который он когда-то нарисовал, совсем, кстати, неплохо. С годами Наташа стала лучше отца понимать: чувствительный человек с претензиями на принадлежность к искусству, занимающийся нелюбимым делом, желающий нравиться, привлекать к себе людей, скучающий в семье, собирающий книги, которые он никогда не читал, неудовлетворенный, вероятно, жизнью, довольно посредственный в сущности человек, несостоявшийся ни в семье, ни в профессии, но считающий, что ему недодано.

Сейчас Наташа всё это про отца, которого уже давно не было на свете, понимала, но всё равно его не прощала. Он был перед всеми ними виноват: перед мамой, перед сестрой, и, главное, перед нею самой. Она считала, что он отравил ей детство и раннюю юность. Она не любила бывать дома, не приводила к себе друзей, ни на одну минуту не расслабилась в его присутствии, научилась скрывать свою жизнь, навсегда

дома прикусила язык, закомплексовалась, замкнулась в себе, чувствовала себя непонятой, несчастной, загнанной... И это всё из-за него – шумного, крикливого, неумного, неглубокого, вздорного папаши, которого окружающие любили только потому, что совсем его не знали.

Такими Наташа родителей и запомнила: тонкую, умную, образованную, чуть отстранённую, не такую уж счастливую, любящую их маму, и хамоватого, эгоистичного, простецкого папу, сотканного, как сейчас говорят, из одних понтов, и озабоченного только собственным «я».

67-летняя Наташа, сидящая на людной автомобильной парковке в Вирджинии, тяжело вздохнула. Вспоминать отца ей было до сих пор тяжело. Она ничего ему не забыла. И хоть Наташа старалась никогда об этом не думать, но в том, что произошло с её 23-летней сестрой Татьяной, она тоже винила отца. Может не прямо, а косвенно, но это случилось из-за него. С той поры прошла целая жизнь, и видит бог, Наташа всегда гнала от себя неприятные воспоминания и мысли, но сегодня ей всё почему-то вспомнилось, хотя уже нечётко, словно сквозь дымку.

Таня встречалась с молодым человеком Виталием. По вечерам её никогда не было дома, и Наташа понятия не имела, где сестра была. Она училась на вечернем отделении Института тонкой химической технологии им. Губкина и рабо-

тала на химическом заводе в лаборатории. Больше Наташа о ней ничего не знала. Химия её саму совершенно не интересовала. Зато Таня приносила домой какие-то песенники с переписанными её рукой самодеятельными песнями, которые они пели в походах, Наташа их тоже переписывала в свои тетрадки и считала себя через старшую сестру, которую она уважала, причастной к молодёжной культуре. Молодой человек Виталий приходил к ним очень редко, но Наташа его несколько раз видела и мнения не составила: ни плохой, ни хороший, ни рыба, ни мясо. Худой, угловатый, не очень-то красивый. В глубине души Наташа считала, что Таня была достойна большего. Потом Таня с Виталием поженились и стали жить у его матери. «Повезло Таньке, ушла из дома. Вот бы и мне так», – Наташа сестре завидовала. Вокруг женитьбы что-то происходило: то ли папе не нравился Танин муж, то ли Таня не поладила со свекровью, то ли у них с Виталием начались нелады? Наташа ни во что не встревала и не задавала взрослым вопросов. В те времена она всё ещё считала себя ребёнком, а их взрослыми. Впрочем, какой толк задавать вопросы, на них всё равно никто бы не ответил. У них в семье с Наташей на серьезные темы не разговаривали, наверное, считали глупой и незрелой, или просто оберегали от жизни. Таня приезжала домой к матери, когда отца не было дома, они о чем-то за закрытой дверью разговаривали, Наташа слышала возбужденный Танин голос, мать пыталась её успокоить, в чем-то убеждала. Из обрывков разговоров На-

таша поняла, что Тане плохо, мама уговаривала её вернуться домой, но сестра отказывалась: «Нет, мам, нет... ни за что. Прекратим этот разговор! Нет, я не могу», – доносилось из-за двери. «Естественно, она не вернется. Ещё чего! – тут Наташа была с сестрой полностью согласна. – Ничего, немного осталось потерпеть. Я тоже уйду... Быстрее бы уж», – в такие моменты Наташа ненавидела свои 16 лет.

В этот день она пошла в школу попозже, к девяти. Дождливая, тусклая осень, среда, не обычный учебный день, а так называемое производственное обучение. Наташа была в группе радиомонтажников. Они сидели в особом классе с паяльником в руках и терпеливо лудили крохотные детали электрических цепей в радиоприемниках. Получалось так себе, небрежно, но кого это волновало? Радиомонтажницей Наташа быть не планировала. Они только что пришли с первой перемены, как дверь класса открылась, и Наташа увидела завуча по производственному обучению Владимира Абрамовича. «Наташа, иди сюда». Лицо у учителя было каким-то странным. Интересно, что им от неё надо. «Наташа, поезжай домой, у вас в семье несчастье», – тихо, но настойчиво сказал ей Владимир Абрамович. Наверное, надо было спросить «какое несчастье, что случилось?», но Наташа не спросила, и быстро одевшись, в каком-то странном оцепенении, поехала на автобусе домой. Хотя был разгар рабочего дня, родители были дома. Мама встретила её в коридоре, бледная, неестественно спокойная, и сразу сказала: «Таня пыталась покон-

читать с собой, она выпила на работе дихлорэтан. Сейчас она в больнице». Наташа прошла на кухню и опять ничего у мамы не спросила. «Мы с папой поедем в больницу, а ты побудь дома». Тут Наташа заметила, что мама была в плаще. Она только кивнула. Родители уехали, потом отец поздно вечером вернулся, а мама осталась в больнице. Наташа так и просидела одна, ей никто не звонил. Отец ушёл спать, даже чаю не пил. Что же он ничего не говорит? Наташе про Танино состояние ничего не объяснили, но почему-то она точно знала, что всё очень плохо, а будет ещё хуже. В чём будет это «хуже» она не решалась даже подумать, все её чувства как будто выключились, Наташе было ни больно, ни страшно. Мама не приехала и утром, отец ушёл то ли в больницу, то ли на работу, ничего ей не объяснив. Он был какой-то пришибленный, молчаливый, и всё время прочищал горло, как будто ему там что-то мешало. А ей самой как быть? Вспомнив, что у них контрольная по геометрии, Наташа стала собираться в школу, но тут пришла тётя Ася и с порога заплакала: «Наташенька, какое горе, Танечка наша умирает. Хоть бы уже быстрее, бедная, отмучилась». Увидев, что Наташа стоит в школьной форме, она прервала свои стенания и по-деловому сказала, что ни в какую школу ей сегодня идти не надо. «Не ходи никуда. Будем ждать». Ждать пришлось ещё два дня. Мама, изможденная с чёрными кругами под глазами, приехала из больницы. Родители закрывались в спальне, Наташа слышала мамины рыдания, папин тихий голос, что-то ей го-

ворящий. При Наташе мама не плакала. На третий день она вернулась из больницы довольно рано: «Всё, Таня скончалась. Сегодня рано утром. Всё кончено. Ничего нельзя было сделать», – она тяжело дышала, и Наташу поразило мамино выражение лица, безразличное, какое-то замороженное. Мама легла спать, а папа звонил родственникам, в похоронную службу, на работу себе и маме. Суббота и воскресенье прошли как во сне. В квартире толпился народ, вездесущая тётя Ася разливала всем суп, какие-то другие тётки ездили на рынок, готовились к поминкам. На похоронах Наташа не была, слышала краем уха, что похоронили в Железнодорожной на Саввинском кладбище. Мёртвой сестру Наташа так и не видела и очень этому радовалась. Страшное, ужасное зрелище. Одно дело – Грушин из бараков в гробу, а другое дело её Татьяна. Нет уж, как хорошо, что её не взяли, она же ещё маленькая, она бы этого не вынесла. В день перед похоронами, Наташа видела через дверь плачущего на родительской кровати Таниного мужа Виталия, сестра называла его Виталька. Он лежал на смятом зелёном шёлковом покрывале, громко некрасиво с икотой рыдал, плечи его сотрясались, однако Витальку никто не успокаивал. Он тогда был в их доме в последний раз.

Наташа пошла в школу, ребята и даже Маша ни о чём её не расспрашивали, считали неудобным. Мама серьёзно заболела. У неё открылся застарелый плеврит, она месяцами лежала в больнице, сделали операцию и ей полегчало, хотя

и не сразу. Жизнь вошла в своё русло. Наташе нужно было поступать в институт, и родители нашли ей репетитора по французскому языку. Куда поступать Наташа не знала и решила пойти в Иняз. Решение далось ей легко, в этот институт шла Маша.

Сейчас, когда Наташа думала о Таниной смерти и обо всём, что последовало за ней, ей было не больно. Ужас тех дней давно иссяк. Белые пятна давних тайн проступали в её умудрённом опытом сознании, хотя вряд ли кто-то точно знал, что там в Татьяниной жизни происходило на самом деле. Кое о чём Наташа могла только догадываться. С Виталькой всё, конечно, было неладно. Вряд ли Татьяна вообще его сильно любила, она скорее всего просто убедила себя в этом, чтобы согласиться на брак с ним и уйти наконец из дома. Уйти из их опостылевшей квартиры, от отцовских придирок, от его мелочных претензий, от хамства и бесконечных раздраженных криков. У Татьяны не было в маленькой квартире своего угла. Она спала в одной комнате с маленькой сестрой, отец рывком открывал в их комнату дверь и начинал визгливо и подолгу читать ей мораль. Он пытался не позволять ей встречаться с Виталием, орал про девок, которые приносят в подоле. Это из-за него она, такая способная, пошла на вечерний, чтобы зарабатывать свои деньги, он же всё чаще и чаще попрекал её куском хлеба, что она «живёт у него в доме и должна жить по его правилам». Как ей это надоело! Мама всё видела, но сделать ничего не

могла. Со свекровью у Тани не заладилось сразу: почему не убрала, не сварила, не вымыла, не погладила, не подумала... Все её бесконечные «ты бы лучше то... ты бы лучше сё...» Виталий всегда почему-то брал мамину сторону, а если и не брал, то просил «не обращать внимания и не делать из мухи слона... и вообще, мама – пожилой человек». В свои 23 года Таня была довольно неопытной максималисткой. Со свекровью она жить не желала, Виталик стал ей противен, вернуться домой к собственным родителям и услышать отцовское «я тебе говорил», казалось невозможным. Поскольку Виталий папе не нравился, Таня в известной степени, вышла за него замуж назло. У них и свадьбы-то никакой не было. Так... Посидели с друзьями, родителей не приглашали, да отец бы и не пришёл. Рассказать о своём угнетённом состоянии Тани было некому. Смесь гордости с нежеланием признавать поражение, неумение говорить о личном, решать моральные проблемы – вот что это было. В то утро, не спав всю ночь, она поддалась импульсу, о котором, неизменно мучаясь от непереносимой боли в обожженном пищеводе, она сто раз пожалела, но сделать уже было ничего нельзя. К ней пустили мать, отца она видеть не захотела. Татьяна была в сознании, просила её спасти, сделать хоть что-нибудь, потом она стала просить помочь ей умереть. И потом, после очередного укола промедола, она плакала и повторяла, что не хочет умирать, а мать сидела рядом, видела её мучения, но прочитав историю болезни, прекрасно понимала, что дочь безнадеж-

на, что у неё началась агония. Она кричала почти до самого конца. На этом месте воображение Наташе всегда услужливо отказывало, последние эпизоды трагедии Наташа никогда не «смотрела».

Тогда она не представляла себе всю серьезность маминой болезни, а ведь мама могла запросто умереть, даже странно, что не умерла. Видимо просто не позволила себе обездолить свою младшую дочь. А если бы мама умерла, что бы с ней было? Наташа всегда задним числом ужасалась. Таню ей было невероятно жалко, но сестра не занимала в её жизни серьёзного места, а от мамы она тогда зависела, это разные вещи.

Наташа уже не могла дождаться, когда же им можно будет возвратиться домой. Мужу на телефон позвонил русский риэлтор Саша, который всем представлялся как Алекс, и сказал, что клиенты ушли и больше уже сегодня вечером никто не придёт. Эдик спросил: «Ну что?» Алекс был, как всегда, уклончив: «Пока трудно сказать... Вы же понимаете». За всю неделю всего один показ. Так они никогда не продадут. Когда они только обсуждали продажу, Наташе казалось, что ей будет очень жалко дома. Они столько вложили в его украшение и обустройство, так любили свои комнаты, что расставаться – это было как от сердца оторвать. Но сейчас Наташа вдруг поймала себя на том, что ей абсолютно всё равно: этот дом, или другой... Вирджиния или Флорида. Лишь

бы быстрее продать, не ходить на работу, делать, что захочется, высыпаться, не торопиться, расслабиться и перестать наконец изводить себя мыслями о служебном несоответствии, бесконечным страхом «а вдруг выгонят». Ей 67 лет, неужели она до сих пор не заслужила покоя, права на простую жизнь без бесконечной борьбы? Эдик, который сам давно не работал, считал, что цену опускать ни в коем случае нельзя, что можно подождать. Подождать означало продолжать работать. Хорошо ему говорить, а она дошла до ручки. Каждый новый день на работе стал казаться ей каторгой.

Об этом не стоило пока думать, завтра на работу, и тут ничего не поделаешь. Вечером перед сном Наташа приготовила одежду, в которой собиралась идти на работу. Светлые брюки, льняной пиджак, скромно, неброско, довольно дорого, но скучновато. Последние лет десять Наташа уже не носила ни юбок, ни каблуков. Она вообще не любила свою внешность. Что тут любить! Весила 100 фунтов, но её давно нельзя было назвать тоненькой, да и худой тоже нельзя. Она была тощей, по-старушечьи усохшей. Фигура не скрывала возраст, а наоборот, подчёркивала его. Ни за что на свете Наташа не согласилась бы показывать свои голые в голубых жилках ноги. Ноги потеряли форму, икры высохли, были видны берцовые кости. Брюки маленького размера едва сходились на несуществующей талии, но не облегли вислого зада. Живот немного торчал, мягкий старческий жирок в небольших неуместных складках на талии чуть свисал через

ремень. Спина предательски сторбилась, и голова свешивалась вниз. Лицо сморщилось, превратившись в печёную грушу: глаза-щелочки, острый подбородок, узкие блеклые губы с опущенными вниз уголками, впалые щёки, испещрённые мелкими морщинами, переходящими у рта в глубокие. Волосы, выкрашенные в рыжеватый ненатуральный цвет, стали безобразно редкими и сухими. Наташа смотрела на себя в зеркало и узнавала бабушку. Бабушка в этом возрасте казалась ей в детстве очень старой. Неужели она молодым ребятам из группы тоже такой кажется.

А когда-то она собой гордилась. Именно так. Наташа всегда умела посмотреть на себя как бы со стороны, объективно. Вовсе она не была красивой, никогда не была и иллюзий по этому поводу не имела. Но что-то в ней всё-таки было. Немногое, но Наташа очень быстро научилась этим немногим и трудно объяснимым пользоваться. Мужчины не обходили её своим вниманием. Нет, не обходили. Даже самые простые из них, видели в ней изюминку, то, что французы называют *du cachet*. С ранней юности Наташа не была одна.

Мужчин у Наташи было не сказать, чтобы очень много, пару десятков, не больше, но зато она их всех помнила и могла сказать, за что любила. А она их любила, пусть недолго, но увлекалась серьёзно, бросалась в новую привязанность очертя голову, никогда не думая о последствиях. Впрочем, какие могли быть такие уж пагубные последствия? Лишний аборт?

Ну, это была вежа времени: неприятно, но не катастрофично, просто неприятность, хоть и весьма досадная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.